

ЮРИЙ НИКУЛИН



ПОЧТИ
СЕРЬЕЗНО...

КОНТУР ВРЕМЕНИ

Юрий Никулин
Почти серьезно...

«АСТ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Никулин Ю. В.

Почти серьезно... / Ю. В. Никулин — «АСТ»,

ISBN 978-5-17-100636-5

«В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле». С этой фразы Станислава Ежи Леца начинается книга Юрия Никулина «Почти серьезно...». Это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других: родных и близких, знаменитых и малоизвестных, но невероятно интересных людях цирка и кино. Книга полна юмора. В ней нет неправды. В ней не приукрашивается собственная жизнь и жизнь вообще. Откройте эту книгу, и вы почувствуете, будто Юрий Владимирович сидит рядом с вами и рассказывает свою историю именно вам.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-100636-5

© Никулин Ю. В.
© АСТ

Содержание

Пожалуйста, не ври!	5
День клоуна	6
Как я учился ходить	12
Семь долгих лет	34
Привыкаю к мирной жизни	70
С чего начинаются клоуны	80
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Юрий Владимирович Никулин

Почти серьезно

Пожалуйста, не ври!

Когда я сказал маме, что собираюсь писать книгу, она меня попросила:

– Только, пожалуйста, ничего в ней не ври. И вообще, когда напишешь, дай мне почитать.

Я думал, что книгу о себе писать, в общем-то, довольно просто. Ведь я достаточно хорошо себя знаю. У меня, как я думаю, окончательно сформировались характер, привычки и вкусы. Не задумываясь, могу перечислить, что люблю, а чего не люблю. Например, люблю читать на ночь книги, раскладывать пасьянсы, ходить в гости, водить машину... Люблю остроумных людей, песни (слушать и петь), анекдоты, выходные дни, собак, освещенные закатным солнцем московские улицы, котлеты с макаронами. Не люблю рано вставать, стоять в очередях, ходить пешком... Не люблю (наверное, многие этого не любят), когда ко мне пристают на улицах, когда меня обманывают. Не люблю осень.

Настал первый день работы над книгой. Сел за стол и долго просидел, мучительно подыскивая первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл некоторые из них. Как только люди не начинали писать о себе! Прямо зависть берет – какие у всех хорошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы. А мне нужно свое первое предложение.

Хожу по комнате, рассматриваю книги, фотографии (так всегда делаю, придумывая трюки для выступлений в цирке) и пытаюсь сочинить начало. И тут рука сама пишет: «Я родился 18 декабря 1921 года в Демидове, бывшем Поречье, Смоленской губернии».

Мгновенно всплыли в памяти все анкеты, которые приходилось заполнять, и зачеркиваю «оригинальное» начало.

Снова, пытаюсь найти спасение, смотрю на томики книг: Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Михаил Светлов... Вот ведь рассказывали они о своей жизни умно, коротко, выразительно и оригинально. Правда, они писатели, им и положено хорошо писать. А я – клоун. И все, наверное, ждут от меня чего-нибудь особенного, эксцентричного.

Но смешное не вспоминалось. Тогда я решил: начну писать книгу с самого, как мне кажется, простого – с рассказа о том, как проходит у меня обычный день.

День клоуна

Жизнь у людей отнимает страшно много времени.
Станислав Ежи Лец

Все в доме еще спят. Тихо. Тикает будильник. Проснулся на пять минут раньше его звонка.

Проснулся, стал думать о предстоящих делах.

Мысли чередуются примерно так.

Хорошо бы поспать еще...

Какой придумать механизм для новой репризы, чтобы бутафорские тараканы бежали по манежу? С этим и ложился спать, но во сне ничего не пришло в голову.

С тараканов мысль перескакивает на Управление железной дороги, где на сегодня назначена встреча с детьми железнодорожников.

Судя по окнам, на улице небольшой морозец. Почему-то подумалось: хорошо бы отпуск дали летом, съездили бы всей семьей отдохнуть под Канев на Днепр. И тут настроение испортилось: пошевелив ногой, почувствовал боль в колене. Болит мениск, а я-то надеялся, что за ночь пройдет.

С таким настроением нужно встать, сделать зарядку, умыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан еще с вечера на большом картонном листе. В нем примерно двадцать пунктов, и если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо.

Не одеваясь, подхожу к зеркалу (в трусах кажусь себе спортивнее, моложе) и вижу: на меня смотрит высокий плотный мужчина, которому за пятьдесят. Он бросил уже не в первый раз курить, а потому прибавил шесть лишних килограммов. Волосы у этого человека седые, но он их подкрашивает: седой человек в клоунском костюме может вызвать у публики чувство жалости.

С девяти утра начались телефонные звонки. Первый – из Союзгосцирка. Сообщают, что в следующую пятницу – коллегия Министерства культуры. «Может, вам придется выступить», – сказали мне.

За завтраком прочитываю письма, полученные с утренней почтой, а сам думаю, что же сказать на коллегии о проблемах режиссуры в цирке.

Письма разные. Обычно в день приходит пять-шесть писем, но стоит сыграть в фильме или выступить по телевидению, как сразу их поток увеличивается.

В основном пишут дети.

У меня есть интересная книга Михаила Зощенко «Письма читателей». Писатель опубликовал в ней письма, которые он получал. Признаюсь, из писем, которые получаю, книги не составишь, хотя многие я храню – в них серьезный анализ нашей с Михаилом Шуйдиным работы на арене, мнения зрителей о фильмах, где я играю, и просто умные, добрые письма друзей.

За завтраком снова зазвонил телефон.

Обращались с предложением встретиться с «коллективом нашей фабрики».

Потом звоню сам: партнеру Михаилу Шуйдину (уточнил время сегодняшней репетиции), в ЖЭК, чтобы прислали слесаря починить кран в ванной (домашние просят, чтобы в подобных случаях звонил именно я, тогда, мол, быстрее приходят), в мастерские цирка, где нам шьют новые костюмы.

Уже уходил из дому, когда раздался звонок с завода «Компрессор». Давно я обещал побывать там, выступить в обеденный перерыв. Договорились на пятницу.

По пути в цирк нужно заехать в аптеку, взять лекарство и отвезти его маме (она живет со своими сестрами недалеко от меня), у нее подскочило давление, а потом – в Союзгосцирк...

Мама обрадовалась, увидев, что я приехал с лекарством. Она с моими двумя тетками пила чай. Начались расспросы про домашние дела, про цирк. Я то и дело посматривал на часы: надо обязательно позвонить мастеру, который делает нам специальный реквизит.

От мамы еду на Калининский проспект, в Московский Дом книги: нужно купить двухтомный словарь синонимов для моей жены, Тани, тоже артистки цирка. Она занимается переводами с английского. Потом – в Сокольники, где находится завод стекла. Там делают особую бутылку для новой цирковой репризы. Идея вроде хорошая. Партнер спрашивает меня:

– А ты не пьешь больше?

– Да, завязал, – должен ответить я, вытаскивая бутылку водки, у которой горлышко завязано узлом.

При рассказе реприза многим нравилась, но скольких трудов стоило найти мастерскую, уговорить мастеров-стеклодувов сделать эту странную бутылку. Наконец бутылка у меня в руках, и я вижу, получилось что-то не то. Узел выглядит неестественным. Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки. Огорченный, уезжаю из лаборатории в Союзгосцирк.

В центре столицы, на Пушечной улице, в старинном четырехэтажном здании размещается наше Всесоюзное объединение государственных цирков – Союзгосцирк, или главк, как его называют между собой артисты. Главк – это движущая сила и мозг нашего циркового искусства: артист все время работает по «конвейеру», переезжая из города в город. И нет у нас в стране артистов, скажем, Московского, Ленинградского, Саратовского цирков, все мы – артисты Союзгосцирка (где и формируют программы), которые получают, как у нас говорят, «разнарядку» работать в том или ином цирке.

В коридорах людно. Толпятся артисты, режиссеры, авторы – кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит коромыслом.

Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы и долго потом по всем комнатам искал женщину – страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и Таню. Долго я считал, что страховать свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным прибором убило на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами Госстраха.

К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом – сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает:

– В цирке умер одногорбый верблюд. Директор говорит завхозу: «Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда». «А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногорбый?» – спрашивает завхоз. «Все равно срежут наполовину».

Слушая анекдот, я вспомнил о предстоящей репетиции. Собрался уходить и увидел клоунов Геннадия Маковского и Геннадия Ротмана. Эта клоунская пара после окончания циркового училища более десяти лет работает вместе. И всюду их выступления проходят с успехом. Ребята только что вернулись из ФРГ. Оба Геннадия радостно поздоровались со мной и вручили лекарство от радикулита. Когда они отправлялись в поездку, я болел. Сегодня здоров, но лекарство, наверное, еще пригодится.

В одном из коридоров встретился старый артист, которого все – и молодые, и его ровесники – зовут дядя Ленья. Он поймал меня за рукав и начал рассказывать о своем пенсионном

жизнь-быть. Чувствую, что опаздываю на репетицию, а он все рассказывает и рассказывает со всеми подробностями, вспоминает друзей, прошлые успехи. Стою и слушаю, понимая, что у дяди Лени только-то и осталась в жизни одна радость – приходить сюда, где собираются артисты.

Наконец я в цирке на Цветном бульваре. На сегодня назначена репетиция детского новогоднего спектакля. Мы должны пройти интермедии с Бабой Ягой. Эту роль исполняет молодой клоун Дмитрий Альперов.

Репетиция шла хорошо. Наш главный режиссер Марк Соломонович Местечкин остался доволен. Дмитрий Альперов будет смешной Бабой Ягой и не очень страшной, так что во время представления детей-малюток выносить из зрительного зала плачущими не придется. А ведь и такое случилось.

Последние пятнадцать минут репетиции, пока манеж свободен, Таня, Миша и я – вот уже четверть века мы работаем вместе – тратим на разводку мизансцен одной репризы. Мы двигаемся по манежу, переносим воображаемые предметы, а иногда вполголоса подаем друг другу реплики. Нам важно пройти основные мизансцены. Потом, уйдя с манежа, продолжим работу над репризой в гардеробной – будем придумывать трюки и сообща их обсуждать, отвергать, развивать.

После репетиции захожу в кассу и беру три билета на субботу для друзей.

По пути из кассы заглянул на несколько минут в кабинет Местечкина, и он сообщил мне, что моя встреча со студентами театрального института назначена на четверг, утром.

Время на исходе – скоро три часа дня, надо ехать выступать в Управление железной дороги. Оттуда – домой.

После обеда сел и ответил на несколько писем. Теперь можно минут двадцать подремать. Затем чай – и пора в цирк.

Весь день незаметно для себя готовился к вечернему представлению.

Машина сворачивает с Садового кольца на Цветной бульвар, издали вижу яркие фонари, собирающуюся публику, машины, неоновую рекламу: «Сегодня и ежедневно большие цирковые представления» – и чувствую, как появляется едва ощутимое волнение.

За кулисами, минуя коридор, заставленный реквизитом, бросаю взгляд на листок с программой на сегодня. Судя по тому, что рядом стоят и о чем-то горячо спорят мой партнер Михаил Шуйдин и режиссер-инспектор, догадываюсь – в программу внесено изменение. Действительно, в связи с болезнью одной из воздушных гимнасток их номер снимается, из-за этого придется перестраивать порядок наших реприз.

На длинном столе для реквизита, отдыхая после заправки манежа, сидят, покуривая, униформисты. Один из них, толстый, неуклюжий, подходит ко мне и смущенно говорит:

– Вот я тут приготовил одну штуку, хочу вам показать.

Униформиста зовут Валерой. Он давно уже грозился чем-то удивить.

Я говорю ему:

– Хорошо, приходи в гардеробную.

Гардеробными в цирке называют актерские комнаты, грим-уборные. Кто их так назвал – неизвестно. Но, сколько я помню себя в цирке, всегда говорят «гардеробная».

Поднимаясь по лестнице, сталкиваюсь с группой детей от трех до двенадцати лет. Это дети артистов, ассистентов и других сотрудников цирка. Их не с кем оставить дома, и они, бывает, целые дни проводят в цирке. Да и дома-то как такового в Москве у многих нет. Редко когда в программе столичного цирка одновременно занято несколько москвичей – три-четыре номера, не больше.

Пока не начался спектакль, ребятам раздолье, но после третьего звонка их заставят подняться в артистическое фойе: во время работы их могут случайно зацепить, сбить с ног, а то и лошадь может ударить. В верхнем фойе детей держит в ежовых рукавицах дежурная

тетя Оля, которую я знаю больше тридцати лет. Когда я учился в студии клоунады, она работала телефонисткой на коммутаторе цирка, а потом, когда коммутатор упразднили, стала дежурной.

До начала представления остается пятнадцать минут. Многие артисты начали разминку. Увидев меня, тетя Оля сообщает о звонках из редакции журнала «Искусство кино» и из библиотеки имени Пушкина.

У входа в гардеробную стоит клоун Анатолий Смыков. Его отозвали из отпуска и направляют работать в Алма-Ату.

– Надоело мне все, – говорит он, – еще немного поработаю и уйду из цирка.

Я чувствую, что он это говорит так, ради красного словца. Он хороший коверный. Из молодых, пожалуй, один из самых способных. Видимо, просто у него что-то не ладится, какие-нибудь сложности в группе, где он работает. Мы договорились, что встретимся в антракте.

В это время раздается второй звонок. Начинаю спешно переодеваться. Только облачился в клоунский костюм, как зазвонил местный телефон. Снимаю трубку.

– Мне Никулина...

– Да, слушаю.

– Юра, привет, это Аркадий.

– Какой Аркадий?

– Да Аркадий, с «Мосфильма». Не помнишь, что ли, шофер?

Голос явно пьяный. Он говорит, что проходил, мол, с приятелями мимо цирка, а сейчас стоит в проходной и просит меня «устроить» всю пятерку (и это десять минут до начала) на представление. Своим родным я беру билеты за неделю вперед! Сдерживая себя, довольно вежливо посылаю его домой и говорю, что, если он еще раз надумает прийти в цирк, пусть звонит трезвый и заранее.

В это время в гардеробную входит Валера, униформист, который обещал показать что-то новое. Он в белой куртке и поварском колпаке. В руках кастрюля.

– Вот, – интригуяще говорит он.

Мы все трое – Миша, Таня и я – смотрим на него. Валера мечтает стать клоуном. И по собственной инициативе пытается во время работы делать, как он говорит, «смешные штучки» – то споткнется о ковер во время смены реквизита, то нарочно уронит что-нибудь... Пока это успеха у публики не имело.

Он стоит в белой куртке, поварском колпаке, с кастрюлей в руках и выжидательно смотрит на нас.

– И что же это будет? – спрашивает Миша.

– Когда начнется погрузка на пароход, я выбегу и упаду... – говорит Валера.

– Ну давай попробуй, – отвечаем мы.

Валера уходит, а мы с Михаилом Шуйдиным, загримированные и одетые в клоунские костюмы, хотим использовать оставшиеся минуты до нашего первого появления на манеже для игры в нарды, столь любимой многими артистами цирка.

Только сели за нарды, открывается дверь, и в гардеробную пулей влетает собака Мила. За ней входит жонглер и дрессировщик Игорь Коваленко. Следом вбегает дочь клоуна Бакуна – крошечная девочка Наташа с круглым, как репка, лицом, с челочкой на лбу.

Наташа с криком «Мива, Мива, Мива!» гоняется за собакой, а та с лаем прыгает на диван, потом на стол, стулья, опрокидывая нарды на пол.

Раздался стук в дверь, и к нам вошел клоун Павел Бакун.

– Дядя Юра, можно? – говорит он.

Странно, когда взрослый человек, с бородой, отец семейства, говорит тебе «дядя». Но так в цирке заведено. Я и сам в свое время клоуна Бартенева называл дядей Васей, а его партнера Антонова – дядей Колей.

– Можно, дядя Юра, я скажу вместо слов «загрузить трюм» – «загрузить трюмо»?

– Попробуй, – отвечаю я. – Но мне кажется, это будет не смешно.

Третий звонок.

Из динамика, установленного в гардеробной, слышатся звуки склянок – спектакль «Мечте навстречу» начался.

Мы с Мишей спускаемся вниз, за кулисы, хотя до нашего первого появления на манеже еще минут шесть. Я подхожу к боковому проходу, гляжу из-за занавески в зал и одновременно высматриваю в первом ряду детей на коленях у взрослых.

Как-то в одном из цирков во время выхода, здороваясь со зрителями, я случайно пожал вместо руки свесившуюся ножку ребенка. Публика это хорошо приняла, смеялась.

С тех пор перед выходом ищу в зале «удобную» ножку (хорошо бы в красном чулке: она выглядит трогательнее и смешней, да и видно ее лучше).

Ножка наконец найдена (увы, в черном чулке). Мы идем по пустому фойе. Навстречу попадаются растерянные люди, которые опоздали к началу и теперь мечутся по фойе с билетами в руках, врываясь по ошибке в туалет, теряя перчатки и шапки.

С манежа мы слышим голос Мити Альперова, играющего в спектакле роль администратора цирка:

– Ну где же они, где же?..

– Да здесь мы, здесь! – кричим мы и появляемся в амфитеатре зрительного зала.

Идет очередное цирковое представление. Оно такое же, как все сыгранные, и чем-то не такое, потому что нет двух одинаковых спектаклей. Публика тоже всегда разная. Например, сегодня в зале много приезжих. Они принимают программу иначе, чем москвичи, – более восторженно.

Да и артисты работают по-разному. Сегодня в номере «Акробаты с бочками» артистка упала с плеч своего партнера, небольшой «завал». И сразу номер пошел в другом ритме. Молодые артисты начали нервничать, дважды спутали мизансцены. Их настроение, видимо, передалось униформистам, которые, вынося им реквизит, поставили не в том порядке столы с бочками. Пока исправляли ошибку, возникла пауза, она помешала и нам в работе.

Все одно к одному. После этого номера я всегда зову из публики в манеж мальчика или девочку, предлагая им прыгнуть с бочки, и жду, когда ребенок прижмется к матери и замотает головой, как бы говоря: «Нет, я боюсь...».

А тут мальчик быстро встал со своего места и деловито пошел ко мне в манеж. Я растерялся и поэтому вместо обычной фразы: «А мама твоя пойдет с бочки прыгать?» (в этом месте публика всегда смеется) – сказал нескладно, что-то вроде: «Сиди, сиди у мамы, завтра будешь!»

Конечно, никто не засмеялся. И я, не «подогретый» смехом, уныло пошел к Мише делать пародию на только что показанный номер.

Правда, потом мы «разогрелись» и вошли в ритм. Но это потребовало больших, чем всегда, усилий.

Перед окончанием первого отделения Игорь Коваленко рассказал мне, что во время сцены погрузки парохода все артисты умирали со смеху – униформист Валера долго толкался среди толпы, выбирая место, где бы упасть, и в результате упал уже за кулисами. Так что публика опять не смогла оценить его трюка.

Второе отделение прошло спокойно, без происшествий. Я был рад, когда, комментируя медвежий футбол, нашел новую реплику: «Медведь Бамбула из кавказского аула». На этой фразе зрители засмеялись.

После представления разгримировались, переоделись и, допив остатки фруктовой воды – во время работы всегда хочется пить, – сдаем ключи дежурной тете Оле.

В цирке уже пусто. На манеже лишь дрессировщик Рустам Касеев. Он заставляет свою медведицу Машку повторять трюк, который у нее не получился на представлении. Это закон цирка. Если что-то не вышло на публике, нужно обязательно повторить после работы.

Пожарники обходят помещение.

День закончился. Обычный день клоуна.

Как я учился ходить

Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого.
Станислав Ежи Лец

В цирк первый раз

Никогда не забудется тот день, когда меня, пятилетнего мальчика, отец повел в цирк. Впрочем, сначала я и не знал, куда мы идем.

Помню, отец сказал:

– Юра, пошли погуляем, – и при этом заговорщически подмигнул матери.

Я сразу понял – на этот раз во время прогулки меня ожидает сюрприз. Сначала мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком. А отец все не говорил, куда мы идем. Наконец подошли к огромному зданию, у входа которого толпилось много людей. Отец, отойдя от меня на секунду (он, как потом выяснилось, купил билеты с рук), вернулся и торжественно объявил:

– Ну, пойдем, Юра, в цирк.

Цирк! Когда вошли в зал, меня поразило обилие света и людей. И сразу слово «цирк» стало для меня реальным, ощутимым, понятным. Вот он – огромный купол, застеленный красным ковром манеж, слышны звуки настраиваемого оркестра... Было так интересно! Ожидая начала представления, я не томился, как это обычно бывает с детьми. Вдруг грянул оркестр, вспыхнул яркий свет, и на манеж, покрытый красивым ковром, вышли участники парада.

В памяти остались слоны-гиганты. Теперь понимаю, что слонов выводили на арену не больше трех-четырех, но тогда мне показалось, что их было с десятков. Были и другие номера, но я их не запомнил.

А вот клоуны остались в памяти навсегда. Даже фамилию их запомнил – Барассета. Одетые в яркие костюмы, трое клоунов выбегали на арену и, коверкая русские слова, громко о чем-то спорили.

Помню некоторые их трюки. У одного клоуна танцевала ложечка в стакане.

– Ложечка, танцуй! – приказывал он. И ложечка, позвякивая, прыгала в стакане.

Клоун после этого кланялся, и все видели, что ложечка привязана к нитке, которую он незаметно дергал.

Произвел на меня впечатление и трюк с цилиндром. Из лежащего на столе цилиндра клоун вытаскивал несметное количество предметов: круг колбасы, гирлянду сосисок, двух куриц, батоны хлеба... А затем на секунду, как бы случайно, из цилиндра высовывалась чья-то рука, и все понимали: в столе и цилиндре есть отверстия, через которые другой клоун, сидящий под столом, все и подавал.

Я воспринимал все настолько живо, что, захлебываясь от восторга, громко кричал. Один из клоунов передразнил мой крик. Все от этого засмеялись.

– Папа! Папа! – затормошил я отца. – Клоун мне ответил, он мне крикнул. Ты слышал?

Когда мы вернулись домой, я прямо с порога объявил маме:

– А меня заметил клоун. Он со мной разговаривал.

Мне настолько понравилось в цирке и так запомнились клоуны, что захотелось, как и многим детям, во что бы то ни стало стать клоуном.

Из ситца с желтыми и красными цветами мама сшила мне клоунский костюм. Из гофрированной бумаги сделала воротник-жабо, из картона – маленькую шапочку с кисточкой,

на тапочки пришила помпоны. В таком виде я пошел в гости к одной девочке из нашего двора, у которой устраивали костюмированный вечер. Кто-то из ребят оделся врачом, кто-то изображал подснежник, одна из девочек пришла в пачке и танцевала. А я – клоун и понял, что должен всех смешить. Вспомнив, что, когда клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, я, как только вошел в комнату, тут же грохнулся на пол.

Но никто не засмеялся.

Я встал и снова упал. Довольно больно ударился (не знал я тогда, что падать тоже нужно уметь), но, преодолев боль, снова поднялся и опять грохнулся на пол. Падая и все ждал смеха. Но никто не смеялся. Только одна женщина спросила маму:

– Он у вас что, припадочный?

На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял – быть клоуном непросто. А вскоре я потребовал, чтобы меня снова повели в цирк: именно потребовал, а не попросил. И меня повели. На этот раз выступал с дрессированными зверями, со своей знаменитой железной дорогой дедушка Дуров, который оказался мне необычайно добрым и благородным. Папа в тот же день подарил мне книгу В. Дурова «Мои звери». Это не только первая книга о цирке, память о первых посещениях цирка, о первом выступлении в роли клоуна, но и память об отце, который вручил мне эту книгу с трогательной надписью.

К нам в дом иногда приходил двоюродный брат отца – дядя Яша, полноватый, седой, с усами, напоминающий внешне Дурова. Когда он пришел к нам в первый раз, я радостно закричал:

– Дуров, Дуров к нам пришел!

– Откуда ты меня узнал? – спросил дядя, решив меня разыграть.

С тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, я просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. А дядя Яша никакого отношения к цирку не имел. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться. Своими вопросами о цирке и утверждениями, что он Дуров, я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить.

Моя мама

Самое первое впечатление о маме – большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробка, в которой хранилась эта мамина шляпа.

В свое время матери прочили славу на подмостках сцены. В молодости она с успехом выступала в провинциальном театре. Но учиться, хотя ее и приглашали, на актерский факультет театрального института не пошла, считая, что должна жить для меня.

Любила мама рассказывать о своем детстве. Жили они у бабушки в Прибалтике, в городе Ливенгофе. Ее отец занимал пост начальника почты. В их семье всегда устраивали праздники, красивые елки. Мама любила доставать фотографии.

– Вот сидит бабушка за столом, вот я, вот твои тетки, мои сестры Нина, Мила, Оля...

Все сестры на старинных, на плотном картоне фотографиях выглядели чинными.

В Москву меня привезли в четыре года. В день нашего приезда на Белорусском вокзале играл оркестр, висели красные транспаранты с лозунгами, на улицах – флаги, портреты. Оказывается, в столице отмечали МЮД – Международный юношеский день – был такой праздник в двадцатые годы.

– Как хорошо в Москве! – сказал я маме. Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник.

С вокзала к нашему дому, на Разгуляй, мы поехали на извозчике, что привело меня в восторг.

Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер пятнадцать по Токмакову переулку, показали на новенькую кровать с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кровать, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям:

– Ну а теперь поедem обратно к бабушке в Демидов.

Когда же выяснилось, что мы никуда не поедem, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал.

Но вскоре к Москве привык. Мама, уходя на рынок или в магазин, строго наставляла, чтобы я ни в коем случае не выходил на улицу, а то, говорила она, «попадешь под лошадь». Рядом с нашим домом находился знаменитый на всю Москву конный парк Ступина. С утра мимо дома, цокая копытами по булыжной мостовой, проходили мощные, упитанные ломовые лошади. Потом появлялись другие подводы – худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди – угольщики, пронзительно кричавшие:

– Углей, углей! Кому углей? Уг-леее-й!!!

Позже на подводах привозили картофель и слышались крики:

– Картошка-а-а! Карто-о-шка! – кричали дядьки, сидя на мешках.

Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное: «С... арье брем, паем...», что означало «Старье берем, покупаем».

Приходили и скупщики бутылок, к которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки, а взамен получали «уйди-уйди» – небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках.

Маленьким я любил встречать маму: все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идет ли она. Я узнавал ее издали, бежал к ней, а она останавливалась и, расставив руки, ждала меня.

Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет», значит, это твердо: сколько ни проси, ни клянчи.

Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала:

– А ну-ка покажи язык.

Я показывал.

– А почему на языке белое пятно? Обманываешь?

С тех пор пошло:

– Юра, ты вымыл руки?

– Вымыл.

– А ну покажи язык.

– Ладно, ладно, иду мыть, – говорил я.

Вспоминаю Немецкий рынок на Бауманской, там у меня всегда разбегались глаза: на лотках стояли размалеванные кошки – мне они казались прекрасными, продавались глиняные петушки-свистульки.

До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова исцарапана, потому что часто с помощью ножниц я извлекал через щели монетки на кино.

Эта обшарпанная глиняная кошка мало похожа на ту, яркую и красивую, которую мы купили около пятидесяти лет назад на Немецком рынке, но это именно та кошка.

До войны мама была женщиной полной, но когда я в 1946 году вернулся домой из армии, то был поражен: она похудела и стала седой.

– Мама, ты прямо с плаката «Родина-мать зовет!», – сказал я тогда.

В годы войны мама рыла окопы под Москвой, потом работала на эвакуационном пункте санитаркой, возила раненых. После войны устроилась диспетчером на «Скорую помощь», где проработала до пенсии.

Поразительное качество матери – общительность. Если отец сходил с людьми трудно, то мать с любым человеком легко находила общий язык. У нее – где бы она ни работала, ни жила – всегда появлялось много знакомых, друзей.

Мой папа

Мой отец, Владимир Андреевич Никулин, зарабатывал на жизнь литературным трудом – он писал для эстрады, цирка, одно время работал репортером центральных газет «Известия» и «Гудок». Когда я был подростком, он казался мне гением, самым лучшим человеком на свете, лишенным каких-либо недостатков. Папа всегда был полон юмора, энергии, силы и оптимизма, хотя жизнь у него складывалась нелегко.

Детство свое отец провел в Москве. После окончания гимназии он поступил на юридический факультет университета, где закончил три курса. После революции его призвали в армию. В 1918 году он учился на курсах Политпросвета, на которых готовили учителей для Красной Армии. После окончания курсов отец просил послать его в Смоленск – поближе к родным, – мать и сестра отца учительствовали в деревне недалеко от Демидова. Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр. В этом же театре служила и мама – актрисой. Отец организовал передвижной театр «Теревьюм» – театр революционного юмора. Он писал обзоры, много ставил и много играл сам.

Вскоре отец с матерью переехали в Москву (папа получил письмо от своего друга, который советовал ему продолжить учебу на юридическом факультете и предложил поселиться в их квартире, потому что их семью хотели уплотнить... «И мы решили: лучше пусть будет жить кто-нибудь из своих знакомых, чем чужой» – так написал в письме друг отца Виктор Холмогоров).

В Москве мы жили тесно, материально трудно и тем не менее весело. Отец ложился спать в семь часов вечера: клал голову на подушку и накрывался сверху другой подушкой. Пока он спал, мы могли кричать, петь, танцевать – отец ничего не слышал. В одиннадцать-двенадцать вечера он вставал, заваривал крепчайший чай, выпивал стаканов шесть-восемь и садился за стол работать. Писал обычно до рассвета. Иногда утром будил нас с мамой и читал все, что сочинил за ночь. Это может показаться странным – вместо слов «доброе утро» услышать: «Ну ладно, вы проснулись, слушайте. Я прочту вам вступление к концерансу и три репризы».

Отец читал и следил за нашей реакцией. Если мы улыбались (а со сна мы могли только улыбаться), он оставался доволен.

Огромное впечатление на меня произвела фамилия отца, которую я первый раз прочел в одном из сборников репертуара для самодеятельности. Я знал, что печатают крупных писателей, известных людей. А тут под текстом стояла подпись: «Влад. Никулин». Меня это потрясло.

В Демидове отца знал весь город. Еще бы! Он создал там «Теревьюм», руководил местной футбольной командой, которую сам и организовал.

Отец много занимался со мной. Он постоянно придумывал различные смешные игры. Любимое наше занятие – лежать вместе на кровати и петь. В толстую конторскую тетрадь отец собственноручно переписал около четырехсот русских народных песен. Все их я выучил наизусть. Причем мотивы к песням мы часто придумывали сами, и, если вдруг по радио передавали какую-нибудь песню на другой мотив, я страшно удивлялся.

Иногда отец начинал поздно вечером громко петь.

– Володя, что ты делаешь, – возмущалась мать, – все же спят!

– Уже не спят, – смеялся отец, но пение прекращал. Часто дома он читал стихи Лермонтова, Асеева, Есенина, Маяковского, Северянина, Фета и других. Читал отлично. Всегда заботился о своей артикуляции, не забывал ежедневно заниматься специальными упражнениями, развивающими технику речи.

Помню, отец взял меня с собой на прогулку. Он показывал мне, десятилетнему мальчику, дом, где жил в детстве, крыши, по которым ему приходилось убегать от дворников.

И вдруг я представил своего взрослого отца бегущим по крышам – странное ощущение.

Прошло много времени. Когда моему сыну, Максиму, исполнилось десять лет, я тоже повел его на прогулку. Показывал ему дом, где жил, школу, в которой учился, забор, через который мне приходилось перелезть, и сараи, на крышах которых мы спали летом в душные московские ночи.

Наверное, Максиму тоже странно было все это слышать. Видно, все отцы любят вспоминать и показывать, как и где они жили, как проходило их детство.

Все повторяется.

Отец любил, гуляя со мной, рассказывать о шутках и розыгрышах времен его детства. Так, например, набрав телефон цирка, гимназисты вызывали администратора цирка и спрашивали:

– Вам не нужны мальчики-арабы?

На другом конце провода заинтересовывались и расспрашивали, что умеют делать эти мальчики и откуда они. Отец (а рядом стояли его приятели-гимназисты) сообщал, что их целая семья – пять братьев и они приехали в Москву искать счастья. Мальчики прыгают, танцуют, глотают шпаги, но питаются только сырым мясом.

В конце разговора назначался час встречи для просмотра мальчиков-арабов. На этом, собственно, шутка и заканчивалась. А дальше гимназисты в своем воображении рисовали картину, как чудо-мальчиков ждут в цирке, представляли, как ходит администратор, нервно теребя ус, а арабов-то нет как нет.

В другой раз отец с друзьями приклеили к дверям мясной лавки записку: «Имеются в продаже свежие соловьиные языки и верблюжьи пятки». А сами на другой стороне улицы ждали, что будет. Минут через десять из лавки выскакивал возмущенный мясник и срывал записку. Видно, кто-то из покупателей спрашивал соловьиные языки и верблюжьи пятки.

Сочинение реприз, интермедий, руководство кружками самодеятельности не давало хороших заработков. Когда нам становилось особенно трудно, отец подрабатывал уроками, занимаясь с ребятами со двора и с учениками из нашей школы русским языком и математикой.

Отец почти не пил, и начатая на каком-нибудь празднике бутылка портвейна могла месяцами простоять на подоконнике. Лишь иногда отец добавлял в чай ложечку вина.

Как-то к нам пришел дальний родственник и остался поужинать.

– А выпить-то у вас есть что? – спросил он. Папа поставил на стол начатую бутылку портвейна. Родственник ее тут же прикончил. Я удивился, как это так – выпить бутылку за вечер! Работая некоторое время репортером газеты «Известия», отец получил пропуск для посещения театров на два лица. И два раза в неделю родители ходили в театр, а возвратившись домой, обсуждали пьесу, игру актеров, оформление спектакля. Отдельные сцены отец «проигрывал» в лицах. Так, еще мальчишкой, я оказался в курсе театральных дел Москвы. Больше всего родители любили Камерный театр, второй МХАТ и Театр Мейерхольда.

Вообще, я всегда знал все наши домашние дела, слушал все разговоры отца с матерью, и что мне приятно отметить с точки зрения взрослого человека – это поразительную верность отца и матери друг другу, их любовь, заботу друг о друге.

Говоря о характере отца, вспоминаю его упрямство и некоторую прямолинейность. Он постоянно клял литераторов, которые с необычайной легкостью по совету редакторов исправляли текст в интермедиях и репризах. Отец предпочитал спорить и отстаивать свое. Дело иногда доходило чуть ли не до скандала, но заканчивалось тем, что материалы других авторов принимали, а его нет.

Часто вспоминаю отца. Иногда приезжаю на Разгуляй просто посмотреть на родные места. И вспоминаю, как много лет назад вот так же шел снег и мы с отцом (он держал меня за руку) шли по заснеженной улице в традиционный поход на Разгуляй купить что-нибудь к вечернему чаю.

Перед выходом из дому отец всегда спрашивал у матери, что купить. Мама говорила:

– Триста граммов горчичного хлеба, маленькую калорийную булочку, хорошо бы сто граммов масла, сто граммов колбаски. Ну и конфеток, если деньги останутся.

Мы с отцом одевались и шли по своему обычному марш руту.

Сначала заходили в булочную. Всегда покупали у одной и той же продавщицы. Каждой из продавщиц придумали имя.

Тихонькую черненькую юркую продавщицу в булочной мы прозвали Мышкой. Толстого, заросшего щетиной мясника прозвали Карабасом.

Когда я возвращался из булочной, отец спрашивал:

– Ты у Мышки покупал?

– У Мышки, – отвечал я.

И мы улыбались.

Все в семье мы были «подробниками». Когда отец или я приносили домой какую-нибудь новость, то рассказывать о ней полагалось обстоятельно, не торопясь, со всеми деталями.

Отец возвращался откуда-нибудь, а мама говорила:

– Ну рассказывай. Итак, ты пришел...

И отец начинал:

– Итак, я пришел около десяти часов утра, позвонил два раза, и дверь мне открыла соседка...

Дальше шел подробный отчет о том, как отец ходил к нашим знакомым.

Меня отец любил. Если кто-нибудь в его присутствии начинал меня ругать, он бледнел и выходил из себя. Он верил в меня, но никогда в глаза не хвалил. Высшая форма похвалы – слова: «Это ты сделал неплохо». Относились ли эти слова к тому, как я сыграл какую-нибудь роль в драмкружке (кружок вел отец в нашей школе), или уже потом, когда он разбирал мою работу в цирке или кино.

Притягивали меня к отцу его доброта, душевность. События в школе, ссора с приятелем, впечатления от прочитанной книги, увиденного фильма – обо всем я неизменно рассказывал отцу и его мнением и советом дорожил. Отец хотел, чтобы я стал актером, и поэтому занимался со мной этюдами, художественным чтением.

Мама мечтала, чтобы я учился играть на пианино. Но если бы и собрали деньги на инструмент, то в нашей комнате его негде было бы поставить. Пришлось довольствоваться хоровым кружком в школе. Отец поддерживал во мне стремление петь, слушать пластинки, музыкальные передачи по радио. Он подарил мне толстую тетрадь, в которую я записывал слова песен, услышанных по радио или в кино.

Когда я женился и стал жить у Тани, отец очень переживал и ревновал. Приезжая к нему, я чувствовал, что он всегда рад меня видеть. Вхожу в дом, а отец спрашивает:

– С ночевкой?

– Да, – отвечал я.

Отец радовался, заваривал чай и смотрел на меня влюбленными глазами.

Наша квартира

В коммунальной квартире под номером один на первом и единственном этаже деревянного, с облупившейся зеленой краской дома мы занимали девятиметровую комнату. Окно с занавесочкой, зеленые обои, небольшой квадратный обеденный стол в углу, за ним же занимался отец, а я умудрялся делать уроки. Рядом – кровать родителей, здесь же сундук, на котором спали часто гостившие у нас родственники. По всем углам комнаты лежали кипы газет и журналов (отец запрещал их выбрасывать). На ночь из коридора для меня приносили раскладушку. Это была деревянная походная кровать, проданная нам старушкой соседкой по двору. На ней во время русско-японской войны спал в походах ее покойный муж, полковник русской армии. Кроватью я гордился. Мне даже казалось, что она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол: гвоздики, державшие мешковину, проржавели, да и сам материал прогнил. Раскладушку полковника на другой день отремонтировали, прибив новый материал, и я спал на ней до окончания школы.

Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. Старики Холмогоровы – в прошлом домовладельцы – жили вместе со своими взрослыми сыновьями Гавриилом Михайловичем и Виктором Михайловичем, с их женами (я их называл тетей Галей и тетей Калей) и их дочерьми Ниной и Таней. Всего в квартире жило одиннадцать человек.

С девочками, двоюродными сестрами Таней и Ниной, мы учились в школе в одном классе. Часто вместе играли.

К счастью, наша квартира не представляла собой типично коммунальную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до вечера жужжали примусы и звякала посуда, никто никогда не ругался: наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли душевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или новый кинобоевик с Мэри Пикфорд в главной роли.

Наши семьи сближало то, что мой отец учился вместе с дядей Витей и дядей Ганей в одной гимназии.

Часто взрослые собирались в большой комнате – мы ее звали залой – послушать радио. Из Большого театра постоянно транслировались оперы. Наши мамы сидели с вышиванием в руках и, буквально млея, слушали Нежданову, Барсову, Лемешева, Козловского, Норцова. А мы, дети, любили проводить вечера в холмогоровской столовой. Усядемся за столом и, каждый занимаясь своим делом (я рисовал, выстраивал солдатиков, девочки шили платья для кукол), слушаем чтение Юлии Михайловны. Баба Юля, попыхивая папироской «Бокс», читала вслух Майн Рида, Жюль Верна, Луи Жаколио.

В маленьком узком коридорчике, напротив нашей двери, стоял огромный, окованный железом старинный сундук Холмогоровых. Это из его недр извлекались для домашних спектаклей пропахшие нафталином бабушкины салопы, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, кружевные пелеринки. Замок у сундука особый – с боем: повернешь в нем ключ, и слышится мелодичное – блим-бом... блим-бом... Однажды я сделал открытие: оказывается, если сильно ударить каблуком по стенке сундука, то тоже раздавалось блим-бом. Когда приходили ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность сундука.

В столовой у Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме картина: портрет какого-то мужчины в парике, как у Ломоносова, с круглыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо засижено мухами. Кто писал портрет и кто на нем изображен, об этом в семье никто не знал. Он достался по наследству от прабабушки бабы Юли.

Помню, подростком, запоем прочитав повесть Гоголя «Портрет», я в тот же день выбрал момент, когда все разошлись по своим комнатам, прокрался в столовую и долго смотрел в глаза изображенному человеку, надеясь уловить в его взгляде что-нибудь мистическо-демоническое, но, сколько ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож, я с трепетом исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот-вот нож звякнет о спрятанное там золото. Конечно, никакое золото не звякнуло, лишь из щелей выползло несколько клопов...

К Холмогоровым я относился по-разному. Старика – Михаила Гавриловича, который иногда на нас, детей, покрикивал, я побаивался. С бабой Юлей нередко затевал спор о существовании Бога. Она регулярно ходила в церковь, крестилась перед обедом.

Из всех Холмогоровых больше всего я уважал и любил Гавриила Михайловича – дядю Ганю. Красивый, с фигурой спортсмена, с сильными, жилистыми руками, он был в доме самый деловой и самый добрый. По профессии инженер, дядя Ганя был мастером на все руки. Испортится кран, перегорят пробки, случится какая-нибудь другая поломка в доме – все исправит.

С работы дядя Ганя возвращался позже всех; усталый, с почерневшим лицом, он быстро съедал наспех разогретый обед. Нам, детям, он посвящал выходные дни. Ходить на каток, на лыжах вместе с ним – одно удовольствие. Нередко он брал нас с собой в кино. Перед обаятельной улыбкой дяди Гани не мог устоять ни один администратор кинотеатра. Дядя Ганя умудрялся доставать билеты в кино за пять минут до начала сеанса.

Первый раз в жизни я катался на легковой машине именно с дядей Ганей. В один из Первомайских праздников он решил покатать нас и показать иллюминацию. Мы сели вместе с Ниной и Таней в чудесную квадратную карету без лошадей и понеслись по улицам Москвы. Мне казалось тогда, что я самый счастливый человек: и почему только никто на улицах на нас не смотрит? Ведь мы едем на автомобиле!

А вечером дед Холмогоров басом выговаривал дяде Гане:

– С ума сошел, детей баловать – на таксомоторе катать. Дядя Ганя порой, видя, что нам туговато, сам предлагал родителям дать в долг. Когда я играл у них в комнате с девочками и родители готовились к ужину, дядя Ганя всегда говорил жене:

– Юру-то накорми тоже.

Великим событием для всех в доме стало его вступление в партию. В тот же день дядя Ганя под причитания стариков демонстративно снял в кухне иконы.

– У себя в комнате вешайте их сколько угодно, а здесь общественное место. Люди ко мне придут, стыдно будет.

«Я веселый, я не грустный...»

«Я веселый, я не грустный...» – так начиналась песенка, которую мы, дети, пели на нашем первом домашнем спектакле. В большой столовой мы показали придуманный и поставленный отцом спектакль-обозрение «Блин», в котором принимали участие ребята с нашего двора и мой отец.

Спектакль приурочили к Масленице. В школу я тогда еще не ходил, и, если не считать попытки сыграть клоуна, «Блин» – мое первое выступление. Между интермедиями над простыней-занавесом проплывал затянутый желтой бумагой обруч. С обратной стороны он подсвечивался лампочкой (всю техническую часть – свет, раздвижение занавеса – обеспечивал дядя Ганя). Это и был Блин: с глазами, ртом, носом. На всю жизнь запомнилась песенка, которую мы пели хором:

Я веселый, я не грустный,

Я поджаристый и вкусный,
Я для Юрок, Танек, Нин —
Блин! Блин! Блин!..

В финале спектакля после веселых приключений в лесу мы все садились за стол и ели настоящие, специально испеченные для представления блины со сметаной и маслом.

Помню и другой спектакль-обозрение, в котором мы изображали наших кинокумиров: я – Гарольд Ллойда (канотье, роговые очки, пиджачок и ослепительная, как мне казалось, улыбка), а мой друг Коля Душкин – Дугласа Фербенкса (у него платок на голове, в ушах серьга, в руках хлыст), другие – Мэри Пикфорд, Вильяма Харта. Все мы пели, танцевали.

Мамины сестры часто дарили мне книги. Среди них – «Маугли» Киплинга (ее я знал наизусть), «Робинзон Крузо» Дефо, «Каштанка» Чехова.

Над «Каштанкой» я плакал. И зачем она ушла от клоуна?.. Я ненавидел мальчишку, сына столяра, который на веревочке давал мясо собаке. И почему она вернулась к столяру, где пахло клеем, стружкой и где ее снова могли мучить? Этого я не понимал. На мой взгляд, Каштанка поступила неправильно.

Животных – это пошло от отца – я любил. Сколько разных белочек, ежей, черепах, кошек и собак перебывало в нашей квартире! Помню одноглазого Барсика, глаз он потерял в драке; полусибирскую кошку, которую отец окрестил Родней; кота Дотика. Отец мог подбирать на улице голодного, облезлого кота, принести домой и долго выхаживать. Как только появлялась в доме лишняя кошка, мама, несмотря на мольбы отца, куда-нибудь ее пристраивала.

Отец любил животных и серьезно разговаривал с ними, как с людьми, уверяя, что они все понимают, но просто не подают вида. У отца все в семье были такими – почти со священной любовью к животным. Брат отца, дядя Миша, держал дома семь собак шпицев и нескольких кошек.

Со всеми кошками, собаками, со своими игрушками я мог разговаривать часами, потому что верил, что они меня понимают и им это интересно. Только они ответить не могут.

Как-то я бросил камень в дерево, и отец сказал:

– Что ты сделал, дереву же больно...

И я поверил в это.

Никогда не забуду подарок отца – детекторный приемник. Чтобы поймать радиостанцию, приходилось долгое время крутить рычажки настройки. Наконец в наушниках раздавалось сначала хрипение, а потом слышался голос диктора, пение. Часами я наслаждался первым в моей жизни приемником. Поймать удавалось только Московское радио.

Потом в доме появился громкоговоритель. Потрясенный, я смотрел на издающую звуки «тарелку» – все так хорошо и чисто звучало. В двенадцать ночи мы слушали бой часов кремлевской башни, потом звучал «Интернационал». Сначала слышался шум улиц, площади, бибиканье машин, а затем били куранты.

«А что, если, – думал я, – попросить кого-нибудь пойти на площадь и крикнуть, можно ли будет это услышать?» Хотелось самому пойти туда и чтобы кто-нибудь слушал мой голос по радио.

Мне доставляло удовольствие слушать по радио песни.

К музыке, к песням я тянулся с детства.

Славилась в нашей семье исполнением песен тетя Мила. Голос у нее приятный, пела она всегда с чувством. А когда я слышал «Русалка плыла по реке голубой» в ее исполнении, песню на слова Лермонтова, мне становилось грустно и даже хотелось плакать.

В Москве меня, еще дошкольника, повели на оперетту «Корневильские колокола». Оперетта мне понравилась.

Отец одного из моих товарищей по двору собирал пластинки и часто устраивал у себя вечера прослушивания, на которые приглашались ребята. С удовольствием по многу раз мы слушали Л. Утесова, В. Козина, И. Юрьеву, Т. Церетели, а также старинные граммофонные пластинки.

В годы моего детства многие отмечали Рождество. Но нелегально, дома. Запрещалась и елка. Во многих школах висел тогда плакат: «Не руби леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты пошел на елку, значит, ты не пионер».

Дома отец с кем-то разучивал репертуар для самодеятельности, и я слышал такие строчки: «Долой, долой монахов, раввинов и попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов».

– Папа! Значит, Бог есть? – спросил я.

– Почему? – удивился отец.

– Ну как же, – говорю я. – Раз залезем и будем разгонять значит, Бог есть? Значит, он там, да?

Хотя елку родители мне не устраивали, но в Деда Мороза, приходящего к детям на праздники, я верил. И перед Новым годом всегда выставлял ботинки, зная, что Дед Мороз обязательно положит в них игрушку или что-нибудь вкусное. Случалось, что несколько дней подряд я выставлял ботинки, и Дед Мороз все время в них что-нибудь оставлял. Но в одно январское утро я подошел к ботинку, а там лежал завернутый в лист бумаги кусок черного хлеба, посыпанный сахаром.

– Да что, Дед Мороз обалдел, что ли? – спросил я громко, возмущенно и с горечью (у родителей, оказывается, просто деньги кончились, и они ничего не смогли купить).

Отец сказал:

– Надо будет мне поговорить с Дедом Морозом.

На следующий день Дед Мороз положил в ботинок пряник в форме рыбки.

Зимой, когда на дворе стояли сильные морозы, мама с утра, кутаясь в платок, говорила отцу:

– Володя, надо затопить пораньше печку.

Отец, надвинув на глаза кепку, прихватив колун и пилу, шел со мной в сарай. Мы пилили сырые дрова. Потом он их колол. Затем вместе приносили дрова домой, с грохотом сбрасывали их на железный лист, прибитый к паркету около кафельной печки.

Конечно, я любил щепками и корой растапливать печь, а потом, когда сырые дрова разгорались, смотреть на огонь.

Вечерами, стоя спиной к печке, грелась мама. Отец пил чай. Я лежал на раскладушке и слушал, как родители переговариваются.

Потом начинал мечтать. Представлял себе, что есть у меня удивительная машина. Управляется она кнопками. Я на ней еду куда хочу. Машина способна пройти везде: и по ямам, и по горам, даже по воде. А если нужно, она пойдет и по воздуху. И когда я так минут пять на своей машине «ехал», то обычно засыпал.

Наш двор

Когда я смотрю на картину Поленова «Московский дворик», мне сразу вспоминаются дворики нашего переулочка. За кирпичным двухэтажным флигелем одного из домов нашего двора находился небольшой – он мне казался громадным – неухоженный сад. Посреди него холм, обсаженный кустами, мы называли его курганом. Между высокими деревьями в центре сада разбили клумбу, а кругом рос дикий кустарник, вдоль забора – трава с зарослями лопуха. С годами сад уменьшался, потому что засохшие деревья спиливались и на освобожденном месте появлялись деревянные сарайчики.

Во дворе собирались ребята из нашего и соседних домов. Старшие гоняли голубей, играли в «расшибалочку», тайком курили в саду за курганом. Мы же, мелюзга, играли в «казаков-разбойников», прятки, лунки, салочки. Позже узнали о волейболе и футболе. Во время футбола часто вылетали стекла в квартирах. И время от времени сообща собирались деньги на стекольщика.

Событием для всех становился приход в наш двор музыкантов, шарманщиков с попугаем. Иногда приходил аккуратно одетый человек и, положив перед собой шляпу на землю, начинал петь. Он исполнял много песен. Мы стояли вокруг и слушали артиста. Тут же открывались многие окна домов. Все с интересом слушали концерт, а потом бросали завернутую в бумажку мелочь.

В душные летние московские ночи некоторые ребята спали на крышах сараев. Приносили из дома какие-нибудь старые шубы, коврики, матрасы, расстилали их на крышах и устраивались на ночь. Когда я стал постарше, мать, к величайшей для меня радости, иногда тоже разрешала мне ночевать на крыше. Обычно нас собиралась компания из пяти-шести человек. Конечно, о сне не могло быть и речи. Сначала пели песни, потом вполголоса каждый рассказывал страшные истории, необычайные случаи.

Лежа на спинах, смотрим на небо, усеянное звездами, и слушаем звуки ночной Москвы: длинные гудки паровозов доносятся с Курского вокзала, резкие клаксоны автомобилей и отдаленный звон трамваев. Засыпали, как правило, когда небо совсем светлело. А иногда, заснув, вдруг просыпались от крупных капель дождя. Тогда разбегались досыпать по домам.

Все ребята во дворе имели прозвища. Зудилина звали Будильником, одного парня – Паташоном, другого Сапогом, а меня Психом.

Как-то во дворе одному из ребят я сказал:

– А ты у нас псих ненормальный.

– Что такое псих? – переспросили меня.

– Сумасшедший, психически больной, – объяснил я. Все засмеялись, и меня с тех пор начали называть Психом. Кроме обычных игр, мы любили довольно странные развлечения. Кто-то придумал розыгрыш – «проведите меня». Из компании ребят, собиравшихся у ворот нашего дома, выбирался один – «заводила» (обычно выбирали меня, так как я, по мнению товарищей, делал все очень натурально). «Заводила» должен отойти по переулку метров за сто от нашего дома и, выбрав кого-нибудь из прохожих, обратиться с просьбой:

– Проведите, пожалуйста, меня, а то ребята вон из того дома хотят меня побить.

И тут разыгрывалась сцена нападения. Толпа у ворот кричала издали:

– Вот он, вот он! Бей его, бей!

Я, моля о защите, прижимался к прохожему. Женщина или мужчина, сопровождавшие меня, начинали кричать на ребят, зывали к милиции. А друзья делали вид, будто нападают на меня. Когда опасность, якобы угрожавшая мне, миновала, я благодарил защитника и нырял во двор какого-нибудь дома, где некоторое время пережидал. А потом начиналось все сначала. Один раз нас «купили». Здоровый дядька в меховой дохе, взяв меня крепко за руку, сказал:

– Идем со мной, не бойся.

А когда поравнялся с группой моих товарищей, вдруг, подтолкнув меня к ним, крикнул:

– А ну-ка дайте ему как следует!

И стал ждать, что будет.

Друзья мои растерялись, а я стоял как дурак. Надо же, попался такой кровожадный дядька. Мой приятель Толя, по прозвищу Паташон, с обидой крикнул ему вслед:

– Тебе самому надо дать!

Мистификация не состоялась.

Возникла у нас и вражда. Подерутся двое парней из разных дворов, и начинается месть. Мы боимся ходить в одиночку мимо их двора, они – мимо нашего. В зависимости от «военной обстановки» менялся и мой маршрут в школу. Приходилось делать крюк, чтобы миновать дом номер семь, где мог получить затрещину. Пользовался и системой проходных дворов, что помогало, но не всегда. Как-то иду я через «нейтральный мирный двор», спокойно насвистываю песенку, а тут подбегают ко мне мальчишки:

– Из какого дома?

– Из пятнадцатого.

– Это у вас Витька Сапог живет?

– У нас.

– А-а... Так это он нашего Алика вчера отлупил?

И тут мне, конечно, досталось.

Ближе всех во дворе мне был Коля Душкин. Дружба наша возникла после драки, во время которой я поранил Николаю голову рукояткой пугача. Увидев залитое кровью лицо товарища, я убежал в сад и спрятался в кустах, уверенный, что убил Колю. Нам было по семь лет, и мой страх, паническое желание куда-то скрыться, я думаю, можно понять и объяснить. Через несколько часов мы помирились, потом стали закадычными друзьями.

На всю жизнь сохранился у меня в памяти первый услышанный анекдот. Мне рассказал его Коля Душкин: «К одному офицеру приходит полковник и стучится в дверь. Открывает денщик, а полковник говорит: “Передай своему барину, что пришел полковник”. Денщик вбегает, бледный, к офицеру и говорит: “Ой, барин, к вам пришел покойник”. И барин от страха полез под кровать».

Я долго смеялся. Подходил ко всем во дворе, рассказывал анекдот и обижался, если кто-то не смеялся.

Когда нам исполнилось по двенадцать лет, мы с Колей заключили между собой «Союз Красной маски». Книгу «Красная маска» Николай прочел еще летом в деревне, куда ездил отдыхать со своим отцом-железнодорожником. Захлебываясь от восторга, он не раз пересказывал мне подробно содержание книги о добром разбойнике Красная маска и его верном друге Иоганне. Так Коля стал Красной маской, а я Иоганном (сокращенно Ио). По условиям нашего тайного союза Иоганн обязан беспрекословно подчиняться всем указаниям вожака. Никто из ребят ни во дворе, ни в школе о нашей тайне не знал, но часто во время игр если начинался спор о чем-либо и я входил в азарт, то раздавался грозный голос Коли:

– Ио!

И я тут же смирялся.

В маленьком чуланчике в подвале нашего дома мы проводили регулярно тайные собрания общества. Окошко без стекла, выходявшее в палисадник, служило нам тайником. Если просунуть руку в окошко и сбоку у стенки отодвинуть доску, то в нише можно обнаружить наши сокровища: красную маску из бархата, старинную металлическую пороховницу, наполненную настоящим порохом, ржавый кинжал в ножнах и, главное, свернутую в трубку бумагу, на которой мы записали клятву верности друг другу. Клятву мы подписывали кровью – выдавливали ее из пальцев, предварительно уколов их гвоздем. Во время тайных совещаний наши сокровища извлекались, а текст клятвы непременно перечитывался. Потом мы по очереди играли кинжалом, а иногда, отсыпав щепотку пороха, поджигали его. Красную маску Коля надевал только один раз, когда мы подписывали клятву. С тех пор я доверял Николаю все свои тайны, он рассказывал мне все о себе.

Во время революционных праздников всем двором мы ходили смотреть проход воинских частей на Красную площадь. Чтобы не проспять войска, проходившие по Гороховскому переулку, мы вставали в шесть часов утра. Будил меня всегда Николай. Накануне, ложась

спать, я привязывал к ноге длинную бечевку и конец ее выводил в форточку. Коля дергал за бечевку, и я тут же вставал.

В Октябрьские праздники в шесть утра еще темно. Невыспавшиеся, мы дрожим от утреннего холода. И вот слышим цоканье копыт вдалеке, и появляются первые ряды кавалеристов. С завистью мы смотрели на красноармейцев с шашками и пиками. Хоть бы один раз так прокатиться! «Вот так, наверное, – думал я, глядя на кавалеристов в буденовках, – они и идут в бой. Вот бы проехать на лошади, с шашкой на боку!» Даже от одной этой мысли захватывало дух.

Во дворе мы часто играли в войну. На соседнем дворе в бывшей старообрядческой церкви находился «Театр рабочих ребят». (Был такой в тридцатые годы.) И как-то через щель в заборе мы увидели, что грузовик подвез к театру массу диковинных вещей: пальму, уличный фонарь, собачью будку и стог сена. Стог – фанерный каркас, обклеенный крашеной мочалкой, – мы притащили к себе во двор. Лучшего помещения для штаба и придумать невозможно.

Играли допоздна в войну. Вечером во дворе появился милиционер с пожилым человеком, у которого был растерянный вид. Потом мы узнали, что он работает реквизитором в театре.

Милиционер, увидев на «стоге сена» надпись «Штаб», деловито спросил:

– Где начальник штаба?

Я вышел вперед. На голове пожарная каска, руки в старых маминых лайковых перчатках – вполне начальственный вид.

– Так, – сказал милиционер. – Стог – быстро в театр. Там через пять минут начинается спектакль. А сам пойдешь со мной в милицию.

Сток мы отнесли, а до милиции дело не дошло. Простили по дороге.

Так закончилось мое первое соприкосновение с театром. А потом я был и в самом театре, смотрел «Чапаева». Когда в конце спектакля Чапаев погиб, я горько заплакал. А после окончания спектакля бежал радостный к матери, сидящей в другом конце зала, и, зареванный, но со счастливой улыбкой, кричал:

– Мама, мама! Он жив! Он выходил кланяться.

Многие пьесы, которые мы смотрели с ребятами в соседнем театре, потом разыгрывались нами во дворе. Мне давали роли злодеев, а все героические исполнял Коля Душкин. Он считался самым красивым мальчиком не только в нашем дворе, но и во всем переулке.

Что Коля красивый мальчик, я узнал от мамы, которая каждый раз в разговорах с соседями восхищалась его красотой. Среднего роста, крепко сбитый, с большими черными глазами, Коля и сам знал, что он красивый. Как-то раз он сказал мне, что к празднику ему сошьют белую матроску, которая пойдет к его глазам.

Во время наших футбольных баталий Коля великолепно стоял в воротах, а позже стал вратарем сборной школьной команды.

После военных событий на озере Хасан приехал с Дальнего Востока Миша Душкин, старший брат Коли. Он участвовал в боях, и его наградили медалью «За отвагу». Для нашего переулочка это стало событием. К нам во двор приходили посмотреть на Михаила из других домов. Ну конечно, мы, подростки, не отходили от него ни на шаг. По просьбе Николая его брат разрешил мне даже потрогать медаль рукой. Коля ходил рядом с братом сияющий, и, когда мы спрашивали его, о чем рассказывал брат, как там в бою, Коля хмурил свои черные пушистые брови, делая серьезное лицо, и говорил:

– Жарко там было. Жарко!

После седьмого класса Коля поступил в военную спецшколу. Я в душе завидовал ему. Прельщала военная форма. Но когда я намекнул родителям о спецшколе, они в один голос стали возражать, а отец сказал:

– Военный из тебя получится никудышный, не твое это призвание.

Образцовая школа

Хотя я родился в декабре 1921 года, в школу решили меня отправить в 1929 году, не дожидаясь исполнения восьми лет (в то время в первый класс принимали с восьми лет).

Первый раз в школу (правда, с опозданием на пятнадцать дней, потому что мы задержались в деревне) меня повела мама. Школа от дома была довольно далеко, и дважды требовалось переходить дорогу. Встретила нас учительница Евгения Федоровна. В пенсне, в синем халатике с отложным белым кружевным воротничком, она сразу мне понравилась.

– Пойдем, Юра, в наш класс, – сказала она и увела меня от мамы.

Я просидел первый урок. Все шло хорошо. Для меня, правда, все было ново и чуть страшновато, но интересно. Читать, считать и немножко писать меня научили до школы родители, и я не чувствовал на уроке, что отстал от ребят.

Началась перемена. Евгения Федоровна вышла из класса, и тут все ребята накинулись на меня с криком: «Новенький! Новенький!». С испугу я начал дико орать. К счастью, в класс вошла Евгения Федоровна.

На другой день мама, подведя меня к школе, ушла. Я вошел в вестибюль и растерялся: забыл, где находится наш класс. Подходил ко всем и спрашивал:

– Вы не скажете, где класс, в котором учительница в пенсне?

Почему-то меня повели в четвертый класс. Там действительно учительница носила пенсне, но меня она, конечно, не признала. С опозданием, к концу урока, я все-таки попал в свой класс.

Уже в первом классе я стал понимать, что есть профессии куда более интересные, чем клоун. Например, пожарник или конный милиционер. И все-таки, когда учительница спросила: «Кто хочет участвовать в школьном концерте?» – моя рука тут же взметнулась вверх.

Первая роль – Горошек. С большим куском картона, на котором нарисовали зеленый горошек, я участвовал в сценке «Огород». Нас, десятерых мальчиков, поставили в ряд на сцене, и каждый по очереди, сделав шаг вперед, должен был произнести несколько стихотворных строчек об овоще, который он изображал. Мне велели выучить такие строчки:

Вот горошек сладкий,
Зерна, как в кровати,
Спят в стручках усатых.

Последним в строю – возможно, из-за маленького роста – поставили меня. Все ребята быстро прочли стихи. Настала моя очередь. Я делаю шаг вперед и от волнения вместо стихов произношу:

– А вот и репка!

После этого я помолчал и встал на свое место.

Зал засмеялся, ибо получилось неожиданно – все читали стихи, а один просто назвал овощ, при этом перепутав горох с репкой. Посрамленный, я ушел со сцены. За кулисами учительница, посмотрев на меня строго, сказала:

– А ты, Никулин, у нас, оказывается, комик!

После концерта я сделал два вывода: первый – быть артистом страшно и трудно, второй – в школе комиков не любят.

16-я школа (потом ей дали номер 349), в которой я учился, считалась образцовой. К нам постоянно приезжали различные методисты, инспектора, часто посещали школу зарубежные делегации. С нами работали педологи. Они определяли умственные способности.

Была такая профессия в конце двадцатых – начале тридцатых годов – педолог. На основании различных тестов делали заключения о развитии ребенка, его умственных способностях. Меня педологи продержали очень долго. Все я делал не так. И они пришли к выводу, что способности мои очень ограничены, чем отец крайне возмутился. Он ходил к ним выяснять отношения и доказывал, что я нормальный ребенок с хорошими задатками.

Мне запомнились встречи с нашими любимыми писателями Львом Кассилем и Аркадием Гайдаром.

Аркадий Гайдар, с короткой стрижкой, внешне напоминающий боксера, остался в памяти как человек энергичный и обаятельный. Он читал нам главы из книги «Военная тайна».

Я в то время учился в шестом классе и занял второе место на районном конкурсе за рассказ «Ванька-разведчик», поэтому меня подвели к Гайдару и сказали:

– А это у нас начинающий писатель.

Аркадий Петрович пожал мне руку и сказал:

– Приходи во Дворец пионеров (он назвал число), я буду беседовать с ребятами, которые пишут.

К сожалению, на эту встречу я не попал – заболел очередной ангиной.

Лев Кассиль – худой, с вытянутым лицом, с милой, доброй улыбкой – увлекательно рассказывал нам о своей поездке с советскими футболистами в Турцию.

Часто бывали у нас и артисты Московского театра юного зрителя, встречи с которыми тоже запомнились. И мы просмотрели все тюзовские спектакли.

Для многих костры – это запах смолы, отсветы огня, темное небо над головой. А у нас костры проводились в школе. Красной бумагой обертывали лампочки, резали алый шелк на длинные ленты, прикрепляли их к вентилятору. Обкладывали все это сооружение поленьями, и костер начинал «полахать». Вокруг костра мы пели, танцевали, декламировали.

В то время все увлекались танцем «Лезгинка» – ходили на носочках, размахивали руками с криками «ас-са». И вот на одном из костров я появился с утрированно большим кинжалом в зубах (сделал его из доски), в огромной папахе и, исполнив несколько танцевальных па, стал мимически изображать, будто бы вокруг меня что-то летает. Я отбиваюсь, отмахиваюсь – ничего не помогает. И тогда в ужасе вместо привычного «ас-са» вопил на весь зал: «Пчела! Пчела!» Все ребята смеялись.

Отец вел в нашей школе драмкружок. Мама входила в состав родительского комитета, помогала в библиотеке выдавать книги, постоянно шила костюмы для участников художественной самодеятельности. Этой работе родители отдавали много времени. Отец постоянно ставил сатирические обзоры, которые сам придумывал. Он написал для меня и моего товарища по классу клоунаду на школьную тему.

В свой кружок отец принимал всех желающих. Занимались в нем и ребята, которые плохо учились. Отец любил ребят. Он открывал способности у тех, на кого учителя махнули рукой. И впоследствии, когда учителя говорили ему, что эти ребята стали лучше себя вести на уроках, исправили плохие отметки, он страшно гордился, что это результат благотворного влияния искусства.

Остался у меня в памяти и школьный вечер, посвященный творчеству Горького. Сценарий вечера написал отец, включив отрывки из «Детства» Горького. Я играл Алешу Пешкова. Выходил с книгой сказок Андерсена и читал (так начиналась инсценировка): «В Китае все жители – китайцы и сам император – китаец...»

Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру мечталось: а что будет, если вдруг придет к нам в школу Горький? Посмотрит он нашу инсценировку, ахнет и скажет: «Как здорово этот мальчик сыграл Горького! Верно, я был таким».

Играть Горького мне нравилось. Конечно, я не говорил на «о» и вообще старался оставаться самим собой. Просто представлял себе – я маленький Горький. Чем ближе подходил день спектакля, тем больше верилось, что Горький придет к нам. Но Горький на вечер не пришел.

Играл я однажды и роль мальчика-китайца в небольшой пьеске. Действие происходило в годы Гражданской войны. Мальчика-китайца красные посылают на станцию, занятую белыми, поручая ему любым способом отвлечь их внимание. Мальчик показывает белогвардейцам фокусы, и, пока те смотрят его выступление, красные окружают станцию и потом занимают ее.

Чтобы сыграть своего китайца похожим, я по совету отца ходил на рынок и долго присматривался, как ведут себя китайцы-лоточники, как они разговаривают, как двигаются.

Мне пришлось научиться немного жонглировать и попотеть вместе с отцом, придумывая и разрабатывая технику фокусов. Шарик, который пропадал таинственно из моих рук (он уходил на резинке в рукав), неожиданно появлялся под фуражкой у поручика (был заранее спрятан такой же).

Ребята-зрители принимали мои фокусы всерьез и потом долго допытывались, как я это делал. Но я хранил профессиональные тайны и ничего не объяснял.

В финале нашей постановки, когда станцию занимали красные, я с криком: «Последний фокус!» – показывал пустую корзинку, а затем выхватывал из нее красный флаг (он был спрятан под двойным дном). Зрители принимали конец спектакля на ура и долго аплодировали.

В детстве были у меня свои боги. Среди них – певцы Лемешев, Козловский, артист кино Михаил Жаров. Как-то я шел по улице в центре Москвы и вдруг увидел Михаила Жарова. Пять улиц я шел за ним. Смотрел влюбленными глазами. Артистов считал людьми удивительными, недостижимыми.

Когда закрылся «Театр рабочих ребят», то в его помещении организовали Дом художественного воспитания детей.

В нем открыли несколько кружков: танцевальный, драматический, музыкальный и фото. Я записался в драматический. Драматической студией, как мы именовали кружок, руководил артист Преображенский, которого мы все очень любили. Стараясь развить фантасию, он ставил с нами этюды. Помню, он предложил нам массовый этюд.

– Вообразите себе, что сцена – улица, – сказал он. – Я выйду на улицу и начну смотреть на небо. Просто так. Каждый из вас – прохожий. Вы должны подходить ко мне по одному и тоже смотреть заинтересованно наверх, думая, что на небе что-то происходит. Но нужно не просто подойти, а и сказать свою фразу.

Начали этюд. Каждый студиец подходил к смотрящему вверх преподавателю. Слышались фразы:

– Ой, а что там, наверху?

– Батюшки, неужели дирижабль?

– Что же такое там, на небе?

И так далее.

Я стоял, дожидаясь своей очереди, лихорадочно думал, что бы такое сказать. Решение пришло неожиданно, когда я подходил к толпе глазающих на небо.

– Уж не медведь ли? – спросил я, заинтересованно глядя наверх.

Все замерли. А потом раздались смешки.

– Что-о-о? – спросил преподаватель.

– Уж не медведь ли? – повторил я несколько неуверенно, глядя ему в глаза.

– Почему медведь? – В голосе педагога послышался металл.

– Ну... чтобы... смешно, – залепетал я.

– А мне не смешно! – зарокотал поставленный голос. – Чтобы больше это не повторялось!

Много-много лет спустя, уже работая в цирке, на одном из детских спектаклей на вопрос партнера: «Отгадай, что у меня лежит под шляпой?» – я наивно спрашивал: «Трамвай?» – и публика смеялась.

Может быть, тогда, в детской студии, я не так сказал, как нужно, а может быть, преподавателю отказало чувство юмора?

Хотя нет, как сейчас помню, одно из его заданий звучало так:

– Отрежьте свою голову, положите ее в чемодан и унесите со сцены.

До седьмого класса я учился в образцовой школе. А потом два седьмых класса решили соединить в один восьмой – часть ребят поступала в спецшколы, в техникумы, другие пошли работать, а на два восьмых класса не хватало учеников. В восьмой класс отбирали лучших по учебе и поведению. Я в этот список не попал. Как потом узнал, на педсовете долго обсуждали мою кандидатуру, решая вопрос, оставлять меня в школе или нет. С одной стороны, хотели оставить, потому что отец много делал для школы, но с другой – учился я средне, на уроках часто получал замечания...

Решение педсовета меня устраивало – появилась возможность перейти в школу-новостройку рядом с домом. В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, как и все, мог перелезть через забор, сокращая путь от дома к школе.

Груша из торгсина

В начале тридцатых годов в Москве открылись специальные магазины – торгсины (торговля с иностранцами). Те, кто имел золото или серебро, мог сдать его в торгсин и прямо в магазине получить в обмен продукты или промтовары.

Помню, тогда в нашей квартире долго обсуждали историю о старушке, которая принесла в торгсин самовар, а ей сказали:

– Иди, бабушка, домой. Мы медь не принимаем.

– А он не медный, – ответила старушка, ставя самовар на прилавок.

– Неужели серебряный? – заинтересовались приемщики и, взяв пробу, ахнули: самовар оказался золотым.

В молодости старушка слыла известной певицей. Однажды компания купцов-золото-промышленников пригласила ее на пароход, где она им много пела. Певица настолько пленила купцов, что они, сложившись, подарили ей небольшой самовар из чистого золота, на котором сделали надпись: «Нашему дорогому соловушке...».

– Где же вы хранили самовар? – спросили старуху.

Она сказала, что самовар стоял на полке на кухне в коммунальной квартире.

У меня в копилке лежал старинный царский двугривенный. От кого-то я узнал, что серебряные царские монеты принимают тоже. Перед днем рождения мамы я с одной из теток пошел в торгсин менять двугривенный на подарок.

Мы робко подошли к прилавку и подали двугривенный. Его приняли, но купить на царские деньги мы могли лишь сочную, красивую, обернутую в папиросную бумагу грушу дюшес. Так мы и сделали. Грушу я подарил маме.

И первая любовь...

Часто на моих днях рождения бывала она, моя первая любовь. Началась любовь в шестом классе. Небольшого роста, худенькая девочка со светлыми, аккуратно подстриженными волосами раньше не очень меня привлекала. Учился я с ней с первого класса. И в дом

она к нам приходила часто, дружила с Ниной Холмогоровой. И вдруг на одном из уроков она посмотрела на меня так ласково своими зелеными, как у рыси, глазами, что я понял – в мире нет лучше и красивее этой девочки. С тех пор я стал часто о ней думать и смотреть на нее по-другому. Через некоторое время решил проводить ее из школы до дома, хотя и пришлось для этого сделать приличный крюк.

По дороге говорили о любимых книгах: я – про Конан Дойля, она – про Эдгара По. С тех пор начали обмениваться книгами. Провожать от школы до дома вскоре перестал, боялся, что ребята начнут дразнить. Но любить ее продолжал.

Часто я рисовал в своем воображении такие картины: нападает на нее кто-то, а я ее защищаю. Когда она приходила к Нине в гости, сердце у меня начинало необычайно биться. Тогда я залезал на крышу самого высокого сарая в нашем дворе и терпеливо ждал, когда она выйдет из дома. Именно оттуда мне хотелось крикнуть ей: «До свидания!» – чтобы, обернувшись, она увидела, как бесстрашно стою я на самом краю крыши. А при мысли о том, чтобы признаться ей в любви и сказать, как она мне нравится, краснел. Казалось, она и не подозревала о моих чувствах. Разговаривала со мной так же, как и со всеми остальными ребятами из нашего класса. Я все чаще стал разглядывать себя в отцовское зеркало и страшно переживал, что голова у меня какая-то продолговатая, дынькой, как говорила мама, и нос слишком большой. Таким я казался себе в тринадцать лет.

Порой ее провожал в школу отец. Это был хмурый, неразговорчивый человек. Он доводил дочь до ворот и, сухо кивнув ей головой, шел на работу. А я думал: «Вот какой он, даже не поцелует. Ведь так приятно было бы ее поцеловать!» В своих мечтах я целовал ее бесконечно. Почему-то целовал в щеку или в макушку – там, где сходились ее беленькие волосы. Но потом, узнав, что она с отцом ходит регулярно тренироваться в стрельбе из винтовки, проникся к нему уважением и сам решил записаться в стрелковый кружок. Но после первого же занятия меня с приятелем из тира выгнали, потому что мы стреляли по лампочкам на потолке.

Помню, девочки Холмогоровы устраивали дома маскарад. Я оделся пиратом: шляпа, нарисованные углем усы, а за поясом настоящий кремниевый пистолет из сундука старика Холмогорова (с этим пистолетом когда-то воевал его дед в Крыму).

А девочка пришла в костюме Петера: в кино тогда шла модная картина «Петер» с участием знаменитой Франчески Гааль, которая в фильме переодевалась в мужскую одежду. Девочка надела большую кепку, широченный пиджак, лицо разрисовала веснушками и пела песенку Петера на немецком языке, смешно подтягивая широкие брюки. Я слушал и млел.

На уроке пения в школе мы хором разучивали песню Бетховена:

Гремят барабаны, и флейта поет,
Мой милый уводит отряды в поход.

Учитель пения вызвал к роялю меня и ее и попросил спеть песню на два голоса. Поем мы, а я представляю, что это она провожает меня в поход, а я – в латах, в руках щит и меч – сижу на лошади... Пою и чувствую, как краснею. Поем-то перед всем классом. Вдруг все поймут, что я ее люблю? Но моего состояния, к счастью, никто не заметил. Только она сказала потом на перемене:

– Что это ты пел и весь надувался?

Как-то в порядке наказания классный руководитель посадил меня рядом с ней за парту. Девочка всегда хорошо себя вела, и классный руководитель рассчитывал, что она положительно воздействует на меня. Большей радости, чем сидеть рядом с ней, трудно было себе представить. От восторга я стал выкидывать разные штучки, смешил свою соседку до слез. Райское житье длилось неделю. Кончилось тем, что меня пересадили на первую парту рядом

с мрачным мальчиком-отличником, который не только не хотел разговаривать со мной на уроке, но и списывать не давал.

Когда я перешел в другую школу, мы перестали с ней видеться, но каждый день я вспоминал ее. Со всевозможными хитростями узнал у одной из девочек ее домашний номер телефона и один раз позвонил. Но, услышав резкий голос отца, бросил трубку на рычаг.

В новой школе из девочек никто не нравился, хотя в десятом классе любовь у нас цвела повсюду. А три пары из нашего класса сразу по окончании школы поженились.

«Спартак», «Динамо» и другие

Лет до десяти к футболу я относился довольно равнодушно, но отец все-таки часто водил меня на стадион посмотреть очередной матч. При этом, обращаясь к матери, он восклицал:

– Боже мой, ну что у нас за сын – никак к спорту не может привыкнуть!

Отец хотел, чтобы я знал и любил спорт.

И своего он добился. Я полюбил футбол и яростно болел за «Динамо», а отец – за «Спартак». Спорили мы, отстаивая каждый свою команду, до хрипоты. Дома у нас висела таблица футбольного первенства страны. Рядом с ней портреты футболистов. Одну из стен нашей комнаты мы посвятили футболу. На картоне я нарисовал, а потом вырезал фигурки футболистов, примерно по двадцать пять сантиметров каждая, и у каждого футболиста была своя форма. На стенке – гвоздики. Первый гвоздик – первое место, гвоздик пониже – второе место и так далее.

Под каждой фигуркой прикреплялась булавкой продолговатая бумажка, на которой крупными буквами писали количество очков, которое набрала команда, а ниже – количество сыгранных матчей.

По тому, как я рисовал фигурки, легко можно было определить мое отношение к командам. Плохая команда – игрок нарисован с распухшим лицом (в то время в футболе существовал такой термин – «эти припухли», «эти запухли» – значит, крупно проиграли), хорошая команда – фигурка футболиста красивая: игрок выглядит статным, волевым. Таким я нарисовал динамовца. Представителя «Спартака» я нарисовал несколько в утрированном виде. И один товарищ отца, часто бывавший у нас дома, потребовал, чтобы спартаковца я перерисовал.

Мой школьный приятель Шурка Скалыга «болел» за киевское «Динамо». Киевлянина я нарисовал с длинными усами, опущенными вниз, а поверх майки – украинская свитка.

У отца на столе лежали справочники и литература по футболу, которую он собирал с начала тридцатых годов.

Мы замирали у нашей тарелки-репродуктора, когда раздавались звуки футбольного марша, и ждали, когда на фоне шума стадиона зазвучит неповторимый, с хрипотцой, голос спортивного комментатора Вадима Синявского: «Говорит Москва... Наш микрофон установлен на московском стадионе “Динамо”...»

Были у отца свои приметы. Каждый раз, выходя из дома, он должен был обязательно потрогать пальцем «на счастье» кошку-копилку, поцеловать в голову нашу собаку Мальку, дать ей кусочек сахара и, проходя по переулку, подержаться за почтовый ящик у дома номер семь.

Однажды мы слушали по радио трансляцию футбольного матча. Играл «Спартак».

«Спартак» проигрывал 0:1, а до конца оставалось всего пятнадцать минут. В волнении отец подошел ближе к репродуктору и встал в дверях. И вдруг «Спартак» сравнял счет, а за минуту до конца забил второй гол и выиграл со счетом 2:1.

С тех пор каждый раз, когда играл «Спартак», отец, слушая радио, за пятнадцать минут до конца матча, независимо от того, какой был счет, вставал в дверях.

– Так будет вернее, – говорил он.

Обыкновенная школа

В нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешел, никакие делегации не приезжали, не приходили к нам и писатели, артисты не устраивали для нас концерты. Только один раз к нам пришла женщина в белом халате и целый час популярным языком учила нас, как убеждаться от глистов.

Я покривил бы душой, если бы сказал, что в школе вел себя примерно. Нет. Когда чувствовал, что меня могут вызвать, а уроки не выучены, то прогуливал. За прогулы наказывали. И тут я придумал новый способ. Во время переключки я прятался под парту.

– Никулин, – говорил учитель.

– Нет его. Он болен! – кричал я из-под парты.

Учитель ставил в журнале отметку о моей болезни (это значило, что меня уже не могут вызвать к доске), и я тогда вылезал из-под парты.

Правда, однажды в конце урока историк вдруг посмотрел на меня и, не поверив своим глазам, спросил:

– Слушай, Никулин, тебя же нет, как ты появился?

– Что вы, Тихон Васильевич, – я старался говорить как можно увереннее, – я все время здесь, на уроке.

В классе всегда круговая порука, поэтому все подтвердили правоту моих слов.

На всякий случай меня пересадили за первую парту, чтобы я сидел перед учительским столом. Но от этого я не стал лучше.

Так, поспорив с кем-то из учеников, что смогу целый урок стучать карандашом по парте, я тут же принялся осуществлять свое намерение. С самого начала урока через каждые две-три секунды я тихонько стучал карандашом по парте, понемногу усиливая звук. Учитель постепенно привык к этому звуку и не пытался найти виновников, хотя стук в течение всего урока раздражал его. Этот странный психологический опыт мне удался, и пари я выиграл.

Увлекались мы и катанием карандашей под партой: все сидят вроде бы спокойно, а шум в классе невыносимый.

Всякое бывало в школе. Меня даже хотели исключить на две недели. Произошло это так. На перемене я зашел в соседний класс, а ребята возьми да и запири меня в шкаф.

Начался урок. Я сижу закрытый в шкафу. Мне это надоело, и я начал стучать.

– Кто это стучит? – строго спросила учительница.

Все в классе молчат. Только учительница начинает объяснение урока, я опять стучу.

– Кто стучит? – уже зло спросила учительница.

Все продолжали молчать. А мне надоело сидеть в духоте, я крикнул:

– Это я стучу, это я!

В классе хохот. Пока меня открывали, пока я изображал клоунаду «Освобождение», урок, в общем, оказался сорванным, за что и собирались меня на две недели исключить из школы.

Когда меня ругали за то, что я плохо запоминал даты, формулировки теорем, мать, защищая меня, говорила:

– У Юры плохая память, не надо его ругать.

– Ну да, плохая, – возражал отец, – раз помнит все анекдоты, значит, память хорошая. Анекдоты я действительно запоминал отлично.

Когда я еще учился в образцовой школе, ребята со двора уговорили меня по-смешному здороваться с их немкой – Софьей Рафаиловной.

К великому восторгу своих товарищей, я встречал у ворот нашего дома полную женщину с портфелем, идущую неторопливой походкой по переулку, и, кланяясь низко, церемонно ей говорил:

– Здравствуйте, Софья Крокодиловна!

Все ребята хохотали.

Не думал я тогда, что встречу с ней на уроках в 346-й школе.

Конечно, Софья Рафаиловна меня запомнила, потому что здоровался я с ней (к удовольствию всех дворовых ребят) по многу раз. И может быть, поэтому, а скорее всего просто потому, что я плохо учил немецкий язык, у меня возникли трудности на ее уроках.

Отец, успокаивая меня, как-то пошутил:

– А ты особенно не огорчайся. Возьми и скажи ей, что немецкий учить незачем. Если же будет война с немцами, так мы с ними разговаривать особенно не будем.

Я последовал совету отца. На одном из уроков, после того как я долго не мог ответить на вопросы, Софья Рафаиловна меня спросила:

– Ну почему ты ничего не учишь?

– А зачем мне, – ответил я, – знать немецкий? Если будет война с немцами, мы с ними особенно разговаривать не будем.

Класс грохнул от хохота, а учительница обиделась.

Не считаясь примерным учеником, со многими учителями я все-таки дружил, и учиться у них мне нравилось.

Часто с теплотой я вспоминаю и образцовую и обычную школы, в которых учился. Остались в памяти и многие школьные друзья.

«Аттестат получите потом...»

Так мне сказали на школьном вечере, посвященном окончанию десятилетки. Последний школьный вечер... Это было летом 1939 года. На четвертом этаже школы десятиклассники праздновали окончание, и я оказался единственный в своем классе, которому не вручили аттестата. И все из-за чертежей, которые я не сделал. У меня потребовали сдать чертежи почти за весь год.

Последний вечер в школе. Танцы. Я не танцевал – не умел. На радиоле проигрывали модные пластинки того времени: «Брызги шампанского», «Девушка играет на мандолине», «Рио-Рита» и другие.

Учителя мило улыбались. Директор школы сказал нам свои добрые напутственные слова.

Вечер закончился около часа ночи, и мы пошли на улицу. Гуляли долго. Вернулся домой поздно, но меня никто не поздравил с окончанием школы. И правильно – я же не получил аттестата.

Целый месяц после школы пришлось сидеть дома и заниматься черчением. Закончив чертежи, я позвонил своему преподавателю и сказал:

– Здравствуйте, Никифор Васильевич. Это Никулин. Я сделал чертежи.

– Молодец. Приходи.

Пришел домой к учителю. Он долго расспрашивал меня о дальнейшей жизни, о планах. Угостил чашкой кофе. В конце нашей беседы он взял пачку моих чертежей, как-то странно улыбнулся и сказал:

– Молодец.

Потом взял и всю пачку порвал. Это был как удар по сердцу. В то же время я понимал: теперь аттестат заслужен честно. Никифор Васильевич при мне позвонил директору школы и сказал, чтобы аттестат выдали.

Иногда я приезжаю в переулок, где прошло детство. Переулок не узнать: осталась школа, осталась старая церковь. А там, где стояли четыре наших дома, значившихся под номером 15, вырос громадный многоэтажный домина, одно из парадных которого приходится как раз на то место, куда когда-то выходило крыльцо нашего одноэтажного деревянного домика с облупившейся зеленой краской.

Семь долгих лет

*Многие люди пережили трагедию, но не о каждом писал ее
Софокл.
Станислав Ежи Лец*

Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходить с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная «карьера» моя за семь долгих лет – от рядового до старшего сержанта.

Смешное и трагическое – две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое и все грустное, что было в эти трудные годы, – второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, – я и постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал...

В армию меня призвали в 1939 году, когда еще не исполнилось восемнадцати лет.

Неужели не возьмут?

И вот приходит мне повестка:
Явиться в райвоенкомат.
Не плачь, не плачь, моя невеста,
Мне в руки дали автомат.

Из солдатской песни

«Неужели не возьмут?» – думал я после первого посещения военкомата, когда меня вызвали на медкомиссию и сразу же направили в туберкулезный диспансер. Я страшно переживал, боясь, что у меня что-нибудь обнаружат и не призовут. Наконец после нескольких медосмотров выяснилось, что я практически здоров. На последней комиссии в военкомате председатель, посмотрев на меня, сказал:

– Вы очень высокого роста, в бронетанковые части не годитесь. Мы думаем направить вас в артиллерию. Как, согласны?

– Ну что же, – сказал я, – артиллерия тоже неплохо.

Гордый, придя домой, я радостно сообщил:

– Призвали в артиллерию!

После «Женитьбы Фигаро»

18 ноября 1939 года в 23.00, как гласила повестка из военкомата, мне предписывалось быть на призывном пункте, который находился на Рязанской улице в клубе автомобилистов. День спланировали так: утром – парикмахерская (стрижка «под ноль»), днем в гости собрались съездить (попрощаться с родственниками отца), вечером – театр («Женитьба Фигаро» во МХАТе) и, наконец, домой, на прощальный традиционный чай.

Вечером все провожающие собрались у нас дома. Мама подала к чаю мой самый любимый фруктовый торт. Отец, как всегда, рассказывал смешные истории, анекдоты, как будто

нам и не предстояла разлука. Мама собирала в дорогу рюкзак, в который положила пирожки, яйца, котлеты, сахар, пакет соли, конфеты, смену белья, зубной порошок, ручку-самописку, бумагу, конверты, две толстые общие тетради, сборник песен и мои любимые книги – «Бродяги Севера» Джеймса Кервуда и «Цемент» Федора Гладкова.

Бывалые люди говорили: «Одеваться в армию надо похуже – там все заменят». Но я надел то, в чем ходил всегда, потому что ни получше, ни похуже у меня ничего не было: брюки расклешенные, куртку на «молнии», шарф в полоску, пальто серое в елочку и кепку.

– Я не пойду тебя провожать, – сказала мама. – Боюсь расстроиться.

Попрощавшись с нею, я вышел из дому вместе с родными и близкими. Многих моих друзей тоже призвали в армию. (Почти перед самым окончанием школы вышел указ, по которому призывали в армию всех, кто закончил в 1939 году среднюю школу. Наш набор называли особым.)

Мама с собачкой Малькой на руках глядела нам вслед из окна, из которого она всегда звала меня со двора домой. Несколько раз я оглядывался и видел, как она грустно улыбалась. Около клуба собралось много провожающих, больше, чем нас, уходящих в армию. У дверей стоял часовой с винтовкой. Я хотел войти, но он предупредил: «Обратно не выпускаем».

И я впервые понял: в армии будет строго. Прощай, детство, прощай, гражданка!

Последние поцелуи с отцом и друзьями. Я вошел в помещение призывного пункта, отметился у дежурного и, положив в угол рюкзак, сел на скамейку. Родители дали мне с собой 120 рублей. Такой суммы у меня никогда раньше не было.

Сидел в уголке и ждал, что будет дальше. Все время приходили новые люди. Даже в час ночи прибывали призывники. Таких, как я, явившихся по повестке в точно указанное время, оказалось мало. Под общий гул, сморенный усталостью, задремал. Около трех ночи нас вывели на улицу.

– Юра! – услышал я знакомый голос и оглянулся.

На другой стороне улицы стоял отец. Он, оказывается, ждал меня. Я не успел ничего сказать, потому что сзади закричали:

– Давай, давай залезай в машину скорей!

Мы сели в открытые грузовики, и я успел на прощание лишь помахать отцу рукой. Машины тронулись, и нас повезли по ночным пустынным улицам. Последний раз мелькнули Разгуляй, Земляной Вал...

Привезли нас на какую-то железнодорожную станцию недалеко от Красной Пресни, где мы провели почти сутки.

Все мы приглядывались друг к другу. Мне понравился один парень, веселый, симпатичный, с ладной фигурой, отлично пел песни, без усталости рассказывал смешные истории. Другой все хвалился, какая у него была цыганочка мировая, как она его любила и как провожала на призывной пункт. Третий, с лица которого все время не сходила улыбка – этим он и привлек внимание, – вспоминал маму, угощал всех шоколадными конфетами. Каждый из нас рассказывал друг другу о себе.

На станции нас повели в баню. Когда я разделся, все начали хохотать.

– Ну и фигурка у тебя: глиста в обмороке... Что, тебя дома не кормили?

Я, наверное, выглядел действительно смешным: тощий, длинный и сутулый.

Всю нашу одежду потребовали сдать для санобработки. Потом выяснилось, что кожаные вещи могли не сдавать, но я этого не знал. Ремень мой после обработки покорежился, съезжившиеся ботинки с трудом налезали на ноги. Одежда издавала резкий, неприятный запах. Ночью нас погрузили в товарный вагон – теплушки с двухъярусными нарами.

Лязгнули буфера, качнулся фонарь «летучая мышь», и мы поехали.

Ехали долго. Миновали Бологое. Куда нас везут? Одни говорили – в Воркуту, другие – в Мурманск, третьи уверяли, что в Ленинград. Время тянулось медленно. Дорога казалась бесконечной.

Ночью я проснулся и обнаружил, что из кармана исчез бумажник. Деньги давали ощущение обеспеченности, какой-то уверенности, а тут сразу – ни копейки. С ужасом подумал: неужели украли? Обшарил нары – бумажника не нашел. Спустился на пол и почувствовал что-то твердое под ногой. Бумажник. Видимо, когда я накрывался пальто, он выпал из кармана. Пересчитал деньги – целы. На всякий случай карман заколол английской булавкой.

Мы не узнаем друг друга

Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали «ура». Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили:

– На границе с Финляндией напряженная обстановка, город на военном положении.

Сначала шли по Невскому. Кругом тишина, лишь изредка проезжали машины с тусклыми синими фарами. Мы еще не знали, что город готовится к войне. И все нам казалось романтичным: затемненный город, мы идем по его прямым, красивым улицам. Но романтика быстро кончилась: от лямок тяжеленного рюкзака заболели плечи, и часть пути я буквально волок его за собой.

Пришли на станцию Ланская, где прошли санобработку. Потом всем выдали шинели, гимнастерки, шлемы-буденовки, брюки галифе, кирзовые сапоги. Мы переоделись и с трудом узнавали друг друга. Подходит ко мне круглолицый парень и спрашивает:

– Ну, как дела?

А я молчу.

– Ты что, не узнаешь?! – И снял шлем.

Я смотрю, да это же мой сосед по теплушке. Как одежда меняет человека!

Как только нас разместили, я открыл свой рюкзак и ахнул, увидев сплошное месиво из пирожков, яиц, соли, сахара, конфет, зубного порошка. Вышел с рюкзаком из казармы и тайком все содержимое зарыл в снег. Три дня вместо месяца, как полагалось, мы находились на карантине, жили в одноэтажных казармах, в каждой по шестьдесят человек.

Как привыкают к армии

Сначала меня убивало слово «подъем». Семь утра. На улице еще темно. Пришла зима. Мы спим. И на всю казарму раздается громкое: «Па-а-дъем!».

Вставать не хочется, а надо. Никак я не мог научиться быстро одеваться. Поэтому становился в строй чуть ли не последним. Старшина во время подъема всегда кричал:

– Ну, пошевеливайтесь вы, обломчики!

Долго мы ломали голову, что за «обломчики». Потом выяснилось, что старшина сравнивал нас с Обломовым из романа Гончарова.

Все, что произошло в первый день после подъема, глубоко потрясло меня. Дома в прохладную погоду меня никогда не выпускали из дома без пальто, умывался всегда только теплой водой, а здесь вдруг вывели на морозный воздух в нижней рубашке, с полотенцем, обвязанным вокруг живота, и заставляют бежать полкилометра по замерзшей, звенящей под сапогами глинистой дороге. После зарядки прямо на улице умывались ледяной водой. Я мылся и с ужасом думал, что вот уже начинается воспаление легких.

В один из первых дней службы выстроил всех нас старшина и спрашивает:

– Ну, кто хочет посмотреть «Лебединое озеро»?

Я молчу. Не хочу смотреть «Лебединое озеро», ибо накануне видел «Чапаева». А с «Чапаевым» вышло так. Старшина спросил:

– Желающие посмотреть «Чапаева» есть?

«Еще спрашивает», – подумал я и сделал два шага вперед. За мной вышло еще несколько человек.

– Ну, пошли за мной, любители кино, – скомандовал старшина.

Привели нас на кухню, и мы до ночи чистили картошку. Это и называлось смотреть «Чапаева». В фильме, как известно, есть сцена с картошкой.

Утром мой приятель Коля Борисов поинтересовался: как, мол, «Чапаев»?

– Отлично, – ответил я. – Нам еще показали два киножурнала, поэтому поздно и вернулись.

На «Лебединое озеро» из строя вышли четверо. Среди них и Коля Борисов. Они мыли полы.

Через несколько дней всех распределили по разным подразделениям. Я попал во второй дивизион 115-го зенитного артиллерийского полка, где меня определили на шестую батарею. Она располагалась около города Сестрорецка. Рядом Финский залив, недалеко река, лес.

Время от времени на батарее объявлялись учебные тревоги. Били железякой по рельсу, и тогда из всех землянок, одеваясь на ходу, бежали бойцы и занимали свои места. В центре огневой позиции стоял командир батареи с секундомером и проверял готовность к открытию огня.

На батарее около ста человек. Старослужащие встретили нас, новичков, довольно скептически и порой подшучивали, разыгрывали. Старослужащие старше нас на три-четыре года, но мы считали их людьми другого поколения.

Солдатскую науку каждый из нас усваивал довольно быстро. Одно из правил этой науки – умей смеяться не только над другим, но и над собой – я усвоил в первые же дни. Если окружающие, не дай бог, поймут, что ты обижаешься, «заводишься», когда над тобой шутят, то тебя засмеют вконец.

Служил с нами боец, здоровенный детина. Поначалу из-за огромного роста и силы его назначили заряжающим. Но после того как он на первом же занятии попытался зарядить пушку с дула, его моментально с заряжающего сняли. Все, конечно, над ним долго смеялись. А он страшно обиделся и переживал. И над ним начали еще больше смеяться и разыгрывать: то портянки ему узлом завяжут, то вместо мыла камешек подложат... Любил этот боец играть на мандолине. Сядет где-нибудь в углу и тренькает одну и ту же мелодию – «Светит месяц». Надоел всем безумно. Однажды сел он, как обычно, в свой уголок, взял мандолину, провел по струнам... А вместо струн оказались нитки. В землянке все засмеялись, а он со злости взял да шарахнул мандолину о печку.

Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно, все со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах. Про себя я злился, но в то же время смеялся вместе со всеми. Что меня и спасало от дальнейших насмешек.

На батарее не было водопровода, за водой ездили на машине. Когда подъезжали к колодцу на окраине Сестрорецка, старослужащие уходили к знакомым женщинам, а нас, новичков, заставляли таскать воду. Им хорошо в теплом доме, а нам на холоде тяжело. И мы старослужащим завидовали, но на них не обижались. Старослужащий есть старослужащий, а новичок должен его уважать.

Получали мы и «зарплату» – денежное довольствие.

Как только появлялись деньги, сразу покупали булочки, повидло, сахар, печенье. Больше всего скучали именно по сладостям и белому хлебу.

После того как на батарее под Сестрорецком в торжественной обстановке приняли присягу, мы стали полноправными бойцами. Не верилось, что теперь нам доверят оружие. А ведь, казалось бы, недавно завидовали мне ребята нашего двора, когда я, десятилетний мальчишка, вышел к ним с настоящим ружьем. Во дворе мы часто играли в войну, пользовались пистолетами, выпиленными из дерева, пугачами, игрушечными саблями. Моя тетка в то время работала в детском саду. Помню, пришла она к нам и, увидев кочергу, которой мама помешивала головешки в печке, сказала:

- Хорошая у вас кочерга. А мы в детском саду мучаемся, у нас вместо кочерги ружье.
- Как ружье? – не поверив, спросил я.
- Да так, настоящее ружье, дуло есть, приклад.
- Вот бы мне его! – сказал я мечтательно.
- А чем же мы печку мешать будем? – спросила тетка.

После того вечера теткин ружье не давало мне покоя – я все время думал о нем. Проводя каникулы в Смоленске у бабушки, я уговорил ее сходить на рынок и купить кочергу. Вернувшись в Москву, торжественно вручил кочергу тетке и получил от нее ружье – малокалиберную винтовку выпуска 1890 года, с чуть оплывшим от огня дулом и настоящим прикладом. Стрелять из нее, конечно, было нельзя: нет ни пружин, ни затвора, но разве это имело какое-нибудь значение? Во дворе все ребята играли по очереди с винтовкой, а я даже с ней спал.

Теперь, после принятия воинской присяги, мне выдали настоящую винтовку. А когда шел на пост, получал и боевые патроны. Я держал винтовку в руках и вспоминал свое детство. И где-то казалось, что я продолжаю играть, как играл когда-то с ребятами во дворе. Военным я себя не очень-то воспринимал, хотя к гражданским и начал относиться чуть иронично.

Так проходили первые дни моей службы в армии. А ведь всего-то десять дней назад я в Москве смотрел в театре «Женитьбу Фигаро».

В жизни раз бывает восемнадцать лет

Учебные тревоги и раньше проводились довольно часто. А тут тревога какая-то особенная, нервная. Собрали нас в помещении столовой, и политрук батареи сообщил, что Финляндия нарушила нашу границу и среди пограничников есть убитые и раненые. Потом выступил красноармеец Черноморцев – он всегда выступал на собраниях – и сказал, что молодежи у нас много, а комсомольцев мало.

Я тут же написал заявление: «Хочу идти в бой комсомольцем».

Через два часа запылало небо, загремела канонада: это началась артподготовка. В сторону границы полетели наши бомбардировщики и истребители.

На третий день войны после продвижения наших войск в глубь финской территории от нашей батареи выставили наблюдательный пункт в Куоккала (теперь станция Репино), на который послали семь человек старослужащих. Они, приезжая на батарею за продуктами, рассказывали, что финны покинули дома после первых же выстрелов. Старослужащие привезли с собой кипы книг на русском языке: собрания сочинений Дюма, Луи Буссенара, Майн Рида, Луи Жаколио и Генриха Сенкевича.

Командование нас предупреждало, что никакие продукты, найденные в финских домах, есть нельзя, они, мол, все отравлены. Поэтому все замерли, когда с наблюдательного пункта нам прислали бочонок с медом, взятый в одном из финских домов. Все стояли и смотрели на него со страхом. Обстановку разрядил длинный белобрысый разведчик Валя

Метлов. Он зачерпнул мед столовой ложкой, отправил его в рот, а затем, облизнув ложку, авторитетно заявил:

– Не отравлено.

Через полчаса бочонок опустел. Никто не отравился.

Я скучал по дому. Часто писал. Писал о том, как осваивал солдатскую науку, которой обучал нас старшина. Оказывается, из-за портянок, которые надо наматывать в несколько слоев, обувь полагается брать на размер больше. И хотя многое из премудростей солдатской науки я освоил, все-таки однажды сильно обморозил ноги.

Нам поручили протянуть линию связи от батареи до наблюдательного пункта. На мою долю выпал участок в два километра. И вот иду один на лыжах по льду Финского залива, за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем. Не прошло и получаса, как почувствовал страшную усталость. Поставил катушки на лед, посидел немного и пошел дальше. А идти становилось все трудней. Лыжи прилипают к снегу. Я уж катушки на лыжи положил, а сам двигался по колено в снегу, толкая палками свое сооружение. Вымотался вконец. Снова присел отдохнуть, да так и заснул. Мороз больше тридцати градусов, а я спал как ни в чем не бывало. Хорошо, мимо проезжали на аэросанях пограничники. Когда они меня разбудили и я встал, ноги показались мне деревянными, чужими. Привезли меня на батарею.

– Да у тебя, Никулин, обморожение, – сказал после осмотра санинструктор.

Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе.

Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось пятьдесят граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые сто граммов: в этот день мне исполнилось восемнадцать лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию.

Мысленно я был дома

В отдельном маленьком помещении на батарее, напоминающем каземат, круглые сутки сидели дежурные телефонисты.

У телефона часто приходилось дежурить и мне. Наши позывные – «Винница». В трубке то и дело слышалось: ««Армавир», «Богучар», «Винница», как слышите?»

Я докладывал:

– «Винница» слышит хорошо.

Иногда раздавалось: ««Армавир», «Винница», «Богучар» – тревога!»

И дежурный телефонист объявлял на своей батарее тревогу.

В ту зиму стояли страшные морозы. И хотя на дежурство я приходил в тулупе, под которым были телогрейка и шинель, на голове шерстяной подшлемник, буденовка, на ногах валенки, холод, казалось, проникал до костей. В телефонке еле-еле горела, скорее мерцала, маленькая лампочка, бетонные стены покрыты сверкающим инеем. Печку топить не разрешали. Это могло нас демаскировать. Иногда возьмешь газету и подожжешь. На секунду становилось теплее, а потом холод казался еще сильнее.

Я знал в армии многих людей, которые редко вспоминали родной дом. А я скучал, грустил. Сидишь ночью на дежурстве и невольно думаешь о Москве. Иногда закрываю глаза и мысленно иду пешком по Комсомольской площади.

Отчетливее всего при этом видишь стадион, поворачиваешь направо, проходишь мимо редакции одной из московских газет, минуешь строящийся дом, останавливаешься у мясного магазина, проходишь мимо парикмахерской, в которой мы всегда с отцом подстригались у одного и того же мастера. (Во время стрижки парикмахер рассказывал забавные истории,

а также сообщал новости из жизни своего сына, которого я никогда не видел, но отлично знал по рассказам.)

От таких воспоминаний становилось легче, как будто действительно побывал дома.

О жизни родных я знал все до подробностей. Писем получал больше всех на батарее. Многие мне завидовали. Писали мне отец с матерью, тетки, друзья и даже соседи.

Сижу в телефонке и продолжаю «путешествие» домой. Вот прохожу мимо гастронома. Меня встречает отец. Мы с ним, как и раньше, идем в магазин и покупаем вкусное к чаю: сто пятьдесят граммов печенья, сто граммов «подушечек», сто граммов халвы. Потом прохожу мимо аптеки и сворачиваю в Токмаков переулок. Останавливаюсь около нашего дома.

Воспоминания прерывает телефонный зуммер:

– «Винница», доложите обстановку.

– Разведчик, разведчик! – кричу я в переговорную трубу, которая соединяла меня с постом разведчика наверху.

Никакого ответа.

– Разведчик! – кричу я что есть силы. Наконец в трубке слышится хруст снега под валенками.

– Ну, чего орешь, чего орешь? – доносится голос разведчика.

– Доложите обстановку.

– В воздухе все спокойно.

– В воздухе все спокойно, – повторяю я его слова в телефон и смотрю на будильник, лежащий боком – иначе он не ходил, – мне остается дежурить еще два часа.

Наша батарея продолжала стоять под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, а почти рядом с нами шли тяжелые бои по прорыву обороны противника – линии Маннергейма.

В конце февраля – начале марта 1940 года наши войска прорвали долговременную финскую оборону, и 12 марта военные действия с Финляндией закончились...

Наши будни

Нашу часть оставили под Сестрорецком.

Жизнь на батарее проходила довольно весело. Некоторые мои сослуживцы взяли из дома музыкальные инструменты: кто мандолину, кто гармошку, была и гитара. Часто заводили патефон и слушали заигранные до хрипа пластинки – Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина... Когда все собирались у патефона, то дело доходило чуть ли не до драки: одни – в основном ребята из села – требовали в сотый раз Русланову, а нам, горожанам, больше нравился Козин. А на соседней батарее где-то достали целых пять пластинок Леонида Утесова. Мы соседям завидовали.

Позже появились пластинки Клавдии Шульженко. Все с наслаждением слушали ее песню «Мама». Мне казалось, что эта песня про мою маму.

Так и проходили наши солдатские будни: учения, политинформации, боевая подготовка.

Командир огневого взвода лейтенант Ларин забавно говорил вместо «огневики» «угневики».

Вызовет он, бывало, помкомвзвода и говорит:

– Собери-ка угневиков, я им прочту профилактику.

Когда все собирались, он начинал свою «профилактику»:

– Что же получается, товарищи? На седьмой батарее – прогресс, а на нашей – агресс.

По натуре Ларин человек добрый, отзывчивый. Начав службу давно, он только к сорока годам стал лейтенантом, и мы считали его пожилым. До всего он доходил, как говорится,

собственным горбом. Бывало, стоишь на посту ночью, а сквозь ставни домика комсостава пробивается свет – это учится Ларин.

Порой, жарко натопив печь, лежа на нарах, мы любили рассказывать анекдоты и солдатские истории.

Однажды со старослужащим Гусаровым мы поспорили на десять пачек папирос «Звездочка» (я не курил, но тем не менее условие спора принял), кто больше из нас знает анекдотов.

После отбоя легли на нары и начали рассказывать. Он начинает, я заканчиваю. Мол, знаю анекдот, слышал его. Он новый начинает – я опять говорю конец анекдота. Тогда Гусаров предложил:

– Давай ты начинай.

Выдаю первый анекдот. Он молчит. Не знает его.

Рассказываю второй, третий, пятый... Все хохочут.

А он не знает их.

Выдаю анекдоты один за другим.

Полчаса подряд.

Час. Два.

Смотрю, уже никто не смеется. Устали смеяться.

Многие засыпают.

В половине четвертого утра Гусаров сказал:

– Ладно, кончай травить, я проиграл.

– Подожди, – говорю, – есть еще анекдоты про пьяных, детские, иностранные.

– Нет, – отвечает Гусаров. – Не могу больше, спать хочу.

Так я выиграл спор. Но никто не знал, что в армию я взял с собой записную книжку, в которой было записано полторы тысячи анекдотов. Перед поединком, естественно, я их просмотрел.

Два раза в месяц на батарею привозили кино. Каждый фильм – событие. В то время картин выпускалось мало, и почти все я смотрел по пять-шесть раз.

Кумирами для нас, бойцов, были актеры Петр Алейников, Михаил Жаров, Игорь Ильинский, Николай Крючков. Все мы любили Зою Федорову, Марину Ладынину, Любовь Орлову, Людмилу Целиковскую. Успехом пользовались картины «Трактористы», «Если завтра война», «На границе»...

Многие ребята занимались на заочных курсах немецким языком. Приглашали и меня на занятия, но я отказывался, потому что немецкий язык продолжал ненавидеть.

Здравствуйте, Климент Ефремович!

Как-то к нам в полк приехал Климент Ефремович Ворошилов. Он был в кубанке, короткой куртке, отороченной мехом, сбоку – маленький браунинг в кобуре. Побывал он и на нашей батарее. Учебная тревога прошла хорошо. Потом Ворошилов вместе с сопровождающими зашел в столовую. Повар, увидев легендарного маршала, от неожиданности потерял дар речи.

– Что, обед готов? – спросил Климент Ефремович.

– Нет, – чуть слышно пролепетал повар. – Будет через час.

– Ах, хитрец, – сказал, улыбаясь, маршал, – боишься, что обедать у вас останемся? Не останемся, не бойся.

Он вышел из столовой и приказал выстроить батарею. Климент Ефремович за отличную боевую подготовку объявил всем благодарность и, сев в черную «эмку», уехал.

Приезд Ворошилова на нашу батарею стал огромным событием. Мы в деталях, подробно обсуждали все, что произошло. У нас-то все прошло хорошо, а вот в соседнем полку, рассказывали, вышел казус. На одну из батарей Ворошилов нагрязнул неожиданно. Дневальный, растерявшись, пропустил начальство, не вызвав дежурного по батарее и не доложив ему о приезде маршала.

– Где комбат? – сразу спросил Ворошилов.

– А вон, в домике, – ответил дневальный. Ворошилов прошел к домику, открыл дверь и видит: сидит за столом спиной к двери командир батареи в одних трусах и что-то пишет в тетрадке. Ворошилов кашлянул. Комбат обернулся и, тут же подскочив, воскликнул:

– Климент Ефремович? Это вы?!

– Это я, – сказал Ворошилов. – А как ваше имя-отчество?

– Да Павлом Алексеевичем зовут.

– Очень приятно, Павел Алексеевич, – ответил Ворошилов и тут же предложил: – Ну, пойдемте на позицию.

– Хорошо, только я оденусь.

– Зачем одеваться! Жарко, – сказал Ворошилов и, взяв комбата под руку, повел его на позицию.

Так и шел комбат на глазах у всех – в трусах – и по приказу Ворошилова объявил тревогу.

Когда все собрались, Ворошилов дал задание: там-то, на такой-то высоте самолет противника. Открыть огонь.

От неожиданности и неподготовленности все пошло скверно: орудия смотрели во все стороны, но только не на цель.

Ворошилов, ни слова не говоря, сел в машину и уехал. Позже в Ленинграде, подводя итоги своей инспекторской поездки по округу, на совещании, где собрали всех командиров батарей, Ворошилов, заканчивая выступление, сказал:

– Был я и на батарее у Павла Алексеевича. (В зале – недоумение. Всех называл по званию и фамилии, а тут вдруг имя и отчество.) Павел Алексеевич, вы здесь? Встаньте, пожалуйста.

Встал Павел Алексеевич, весь красный. И Климент Ефремович рассказал о своей встрече с ним.

После этого Павел Алексеевич батареей не командовал.

«Проявите находчивость»

На второй год моей службы, после лечения в госпитале – болел плевритом, – меня с батареи на время перевели санитаром в санчасть, в военный городок.

Санитаров, писарей, солдат из хозвзвода между собой бойцы называли придурками. Считалось, что они придуриваются, а потому и освобождены от строевой службы. У них не полагалось ни нарядов, ни подъемов. Писаря – те вообще блаженствовали: ходили в хромо-вых сапогах, запросто говорили с начальством.

Санитаром быть мне нравилось. В мои обязанности входило заготавливать дрова, топить шесть печек, мыть полы, отдавать в стирку белье, разносить обед, выдавать больным лекарства, а при необходимости даже ставить клизму. Конечно, проходить службу в санчасти намного легче, чем на батарее. Да и старший военфельдшер Бакуров – мой непосредственный начальник – мне нравился. С черными усами, чем-то напоминающий лермонтовских героев, он вызывал симпатию. Суровый с виду, Бакуров на самом деле обладал мягким характером, понимал и ценил юмор.

В военном городке кино показывали раз в неделю. Иногда устраивались и концерты самодеятельности. При штабе полка сложилась неплохая концертная бригада. Самодеятельные артисты выступали в подразделениях. Мне запомнился ефрейтор-грузин, который великолепно танцевал и пел грузинские песенки. Особенно нравилась песенка о попугае. Начинаясь она словами:

А в одной-то клетке
Попугай сидит,
А в другой-то клетке
Его мать плачит...
Она его любит,
Она его мать,
Она его хочет
Крепко обнимать.

Все песни были из репертуара знаменитого в то время эстрадного певца Ладос Кавсадзе.

До армии я с отцом несколько раз бывал на его концертах. Он свободно держался на сцене и с юмором пел песенки. Публика его хорошо принимала. Слушая нашего ефрейтора, я вспоминал свою гражданскую жизнь. Много лет спустя, в начале пятидесятых годов, выступая в Тбилиси, я встретился с Ладос Кавсадзе, который работал директором цирка.

Когда я ему рассказал, что давным-давно с отцом бывал на его концертах, а в армии его песни исполняли в самодеятельности, то Ладос Кавсадзе, которого в цирке все называли папа Ладос, растрогался и прослезился.

К концу первого года службы у меня тоже возникало желание принять участие в самодеятельных концертах. Я все время прикидывал, чем бы заняться. Но, кроме роли конферансье, ничего не придумывалось.

В санчасти со мной служил молчаливый санитар без двух пальцев на правой руке, что, однако, не мешало ему отлично писать картины «под Врубеля», со странными демонами, мифическими фигурами, летучими мышами и феями. Потом к нам прислали еще одного бойца. Новичок оказался глуховатым. Поэтому его и перевели в санчасть. Глуховатого мы невзлюбили. Он вечно приходил к нашему начальнику и жаловался на нас: они там, мол, пол не протерли, анекдоты больным непристойные рассказывали (глухой-глухой, а анекдоты слышал и сам смеялся). Старший военфельдшер Бакуров не очень-то реагировал на жалобы глуховатого, но для вида нас вызывал и отчитывал.

Любимым выражением Бакурова было «проявите находчивость». Как-то я сказал ему, что нам не завезли дров и нечем топить печи.

– Достаньте, проявите находчивость, – сказал мой начальник.

Наступила ночь. Вместе со своим приятелем-санитаром я отправился «проявлять находчивость». Осторожно подошли к дому комсостава и начали пилить скамейку. Тут же в окне квартиры начальника штаба открылась форточка, высунулась рука с наганом, и бабахнул выстрел. Мы побежали, в панике бросив пилу.

На другой день дежурный по штабу ходил и всех спрашивал: «Кто потерял пилу?» Он и к нам в санчасть зашел.

– Это не ваша пила?

– Да нет, – говорим, – наша на месте.

И показываем ему вторую пилу, которая, по счастью, оказалась у нас: в общем, «проявили находчивость».

«Ваш нарком нашему должен»

Когда дядя Ганя Холмогоров собирался поехать в Ленинград в командировку, мама с папой ему сказали:

– Вот если бы там Юрочку навестить...

Легко сказать – навестить. К нам никого постороннего не пускали. Но дядя Ганя – человек пробивной, приехал и разыскал меня в военном городке. Появился он в пальто нараспашку, чтобы все видели его нагрудный знак лауреата Сталинской премии. А тогда только-только начали присуждать эту премию. И дядю Ганю наградили вместе с другими инженерами фабрики «Красная роза» за разработку производства капроновой нити.

Вошел дядя Ганя в нашу санчасть и увидел такую картину: стою я навтыжку перед старшим военфельдшером Бакуровым, на столе развернута вата, вытянутая из ящика, где хранились лекарства, а в ней трепыхается выводок только что родившихся мышат.

– Развел мышатник, – возмущается Бакуров. – Вот врежу тебе пять суток ареста!..

Я пытаюсь что-то сказать, но, увидев вошедшего дядю Ганю, застываю в изумлении.

Конечно, дядя Ганя обворожил моего начальника. Они поговорили между собой минуты три, после чего подходит ко мне Бакуров и говорит:

– Ну вот что, из-за уважения к твоему дяде-лауреату отпускаю в увольнение. Поедешь сегодня, и чтобы завтра к отбою быть в части.

Каждая поездка в Ленинград становилась для меня праздником. Помню, прислали мне из дома пять рублей, я их не тратил, пока не дали увольнительную на двенадцать часов. На эти деньги можно было сходить в кино, купить бутылку крем-сода, мороженое, а дорога в Ленинград и обратно бесплатная. Когда ревизоры входили в поезд и начинали спрашивать у нас билеты, мы отвечали им:

– А ваш нарком нашему должен.

Не знаю, кто первый придумал такой ответ, но срабатывал он безотказно.

В Ленинград мы приехали в три часа дня. Перед отъездом я хотел пообедать в части, но дядя Ганя сказал:

– Зачем? Пообедаем в ресторане...

И вот мы в Ленинграде, идем в ресторан «Универсаль», что на Невском проспекте, недалеко от Московского вокзала.

Входим в ресторан – швейцар, мраморная лестница, зеркала. Я первый раз в жизни шел в ресторан.

Мы сели за столик. Дядя Ганя спрашивает:

– Ты выпьешь?

– Да нет, – отвечаю. – Я вообще непьющий.

– Ну я возьму себе водки, а ты, может быть, вина выпьешь? – предложил дядя Ганя.

– Ну давайте вина, – согласился я, решив, что в ресторане без спиртного нельзя.

– Сколько тебе?

– Бутылку, наверное.

– Э, нет, с бутылки ты окосеешь. Возьму тебе граммов триста.

Появился официант. Дядя Ганя меня спрашивает:

– Солянку есть будешь?

Молча соглашаюсь.

Заказал дядя Ганя себе водки, мне триста граммов кагора, потом попросил принести какие-то блюда с непонятными для меня названиями. Мы сидим и ждем, говорим об армейской службе, о доме.

Приносят закуску, водку, вино и четвертушку нарезанного черного хлеба.

– Хлеба-то почему так мало? – спрашиваю я тихо-тихо, чтобы никто не услышал. В части мы привыкли, что к обеду нам всегда подавали гору хлеба, которую мы съедали.

Дядя Ганя, усмехнувшись, попросил принести еще хлеба.

Выпил я вина, съел закуску – сардины, копченую колбасу, красивый салат, заливную рыбу. Принесли в горшочках солянку. Официант разлил ее по тарелкам и поставил на стол. Я попробовал и чуть не обалдел – как это вкусно!

– Ты что хлеб-то не ешь? – спросил, посмеиваясь, дядя Ганя.

– Не знаю, – говорю, – что-то не идет.

На второе подали свиную отбивную, которая просто таяла во рту.

От вина, обильного обеда я ошеломел. Сажусь за столом и чувствую: живот у меня раздулся, и перед глазами все плывет. Тепло, уютно. Заиграл оркестр. «Хорошо бы, – думаю, – никогда отсюда не уходить».

После ресторана дядя Ганя повел меня к своим дальним родственникам. Там я переночевал. Утром мы пошли с ним в кино. Смотрели в кинотеатре «Титан» на Невском проспекте фильм «Частная жизнь Петра Виноградова». А после кино поехали к друзьям дяди Гани, где меня угощали бульоном с домашними пирожками, вкусным жареным мясом, сладким вином.

На Финляндский вокзал дядя Ганя повез меня на такси. Когда мы вышли из машины, он сказал:

– Подожди минуточку, я сейчас. – И ушел. Вернулся он с билетом на поезд до станции Горская, где стояла наша часть. Я расстроился.

– Ты чего это?

Я объяснил ему, как мы бесплатно ездим. Дядя Ганя рассмеялся, достал из бумажника красную тридцатку и протянул мне:

– Бери, пригодится.

В поезде я с нетерпением ожидал прихода контролеров и все представлял себе, как, словно бы между прочим, небрежно покажу им билет. Вот, думал, удивятся! Но, как всегда бывает в таких случаях, билеты не проверяли. Вернувшись в часть, я показал билет своим товарищам, и надо мной все дружно посмеялись, хотя я и объяснил, что билет купил мой дядя. А глухой санитар сказал:

– Лучше бы он пива тебе купил на эти деньги.

После отъезда дяди Гани мой начальник Бакуров, если я что-нибудь делал не так, непременно выговаривал:

– Ты это, того, не позорь имя дяди, а то я ему напишу.

«Ставь трубку»

Почти год я провел в санчасти.

Здоровье поправилось, и меня признали годным к строевой службе.

Прощай, старший лейтенант Бакуров. Прощайте, больные. Прощайте, мои сослуживцы-санитары. Собрав вещи, я на попутной машине поехал на свою родную батарею. Ребята встретили радостно. Они только что вернулись с зимних стрельбищ на Ладожском озере. Я попал на батарею в то время, когда там усиленно занимались отработкой хронометров. Разведчикам давалось три секунды, чтобы поймать цель в командирскую трубу. Две секунды отводилось огневицам для установки трубки на снаряде. На головке зенитного снаряда есть вращающийся ободок с цифрами, регулирующими установку взрывателя трубки. Дает командир команду: трубка 40 или, например, 80, и боец орудийного расчета, «трубочный», поворотом специального ключа быстро ставит ободок на нужное деление. От этого зависит, когда взорвется снаряд у цели.

Замешкался трубочный – цель уйдет, снаряд разорвется впустую. А один снаряд, как любил говорить лейтенант Ларин, – это одна пара хромовых сапог.

Лучшим трубочным у нас на батарее, да и, наверное, в дивизионе, считался Иван Клопов, застенчивый парень из деревни. В жизни он спокойный, медлительный. Но когда стоял возле орудия, то становился совершенно другим: устанавливал трубку феноменально быстро. Им гордилась вся батарея.

Любил Ларин во время занятий подойти к орудию, где стоял Клопов, и неожиданно скомандовать:

– Клопов, трубка сорок!

– Есть! – кричал через мгновение Клопов, каким-то чудом успевший накинуть ключ на ободок снаряда и установить «трубку сорок».

Ларин проверял и, усмехаясь, говорил:

– Да, этот в бою не упозорит.

К нам прислали нового помощника командира полка, где он до этого служил, неизвестно. Он сразу начал проверять батареи. Приехал и на нашу. Важный, в щегольской шинели нараспашку, окруженный свитой (наш командир полка полковник Привалов всегда держался скромнее), майор тут же объявил учебную тревогу и сам по секундомеру засекал время.

– Как выполняют хрононорму трубочные? – деловито спросил майор у Ларина.

– Проверьте, – предложил тот и повел его к орудию, где стоял Клопов.

Майор подошел с секундомером к Клопову, стоящему со снарядом, зажатым между ног, и с ключом в руке.

– Так, – сказал он, многозначительно посмотрев на Клопова, и, щелкнув секундомером, скомандовал: – Ставь трубку!

Клопов дернул было ключом и замер в недоумении.

– Медленно, медленно, так не пойдет, – осуждающе сказал новый помощник командира полка.

Ларин стоял растерянный: не мог же он при всех сказать майору, что, прежде чем ставить трубку, надо дать команду, какую именно трубку ставить.

Неловкую, внезапно возникшую паузу прервал сам Клопов:

– Прошу прощения, товарищ майор, рука сорвалась. Теперь можно проверять.

– Ставь трубку! – крикнул майор.

– Есть! – гаркнул тут же Клопов.

– Молодец! – сказал проверяющий, глядя на секундомер, и снова: – Ставь трубку!

– Есть!

– Ставь трубку!

– Есть!

И так раз десять подряд. И каждый раз Клопов поворачивал наобум ключом ободок снаряда и кричал: «Есть!».

Пораженный скоростью трубочного, майор, пряча секундомер, приказал:

– Объявить ему благодарность!

Артиллерийскую науку майор, видимо, знал понаслышке. И то ли поэтому, а может быть, по другой причине, но через три дня его из нашего полка отозвали. А мы Клопову долго еще после этого кричали при встрече:

– Ставь трубку!

Вспоминаю и другой случай. Стояла страшная жара. Ходили по военному городку все разморенные. В это время с инспекцией приехал из округа полковник. Проверяющий ходил по городку и всех разносил в пух и прах. Рядом с ним – начальник штаба.

А тут – ЧП. Неизвестно откуда появился пьяный писарь (потом выяснилось, что он только что вернулся со свадьбы сестры). Стоит писарь посреди городка и разглагольствует.

Что делать? Друзья «проявили находчивость»: взяли писаря за руки, за ноги и со словами: «Лежи тихо, а то погибнешь» – спрятали его под грузовик, стоявший на площадке.

Подходит полковник к грузовику и видит: ноги чьи-то из-под машины торчат.

– Как фамилия бойца? – спрашивает полковник у начальника штаба. Тот назвал первую попавшуюся.

– Молодец. Единственный человек делом занят. Объявить ему благодарность, – сказал полковник и уехал из городка.

Рассказывали, что на другой день обнаглевший писарь потребовал объявления благодарности перед строем. Начальник штаба дал ему трое суток ареста.

Родственники мне не верят

Замкомандира полка по политчасти был у нас замечательный человек, батальонный комиссар Спиридонов. Он часто приезжал к нам на батарею. Говорил всегда спокойно, с какой-то особой мерой такта, доверия, уважения. Мы его любили. В начале апреля 1941 года он, приехав к нам и собрав всех вместе, сказал:

– Товарищи! В мире сложилась тревожная обстановка. Вполне возможно, что в этом году... нам придется воевать. Я говорю это не для разглашения, но думается, что войны нам не избежать. Наш враг номер один – Германия.

Все мы с удивлением и недоверием слушали Спиридонова. Как же так? Только что с Германией мы подписали договор о ненападении, и вдруг разговор о близкой войне.

Из маминого письма я узнал, что в Ленинграде, на Советском проспекте, живут наши дальние родственники – мамина двоюродная сестра с семьей. Мама попросила их навестить. В один из дней, получив увольнительную, поехал к родственникам. Когда заявился к ним в военной форме, они удивились. Тетка, бабушка и троюродный брат Борис – все обрадовались мне. Я провел у них чудесный вечер. Борис специально для меня играл целый час на пианино.

– Что тебе сыграть еще раз? – спросил он.

– «Вальс-фантазию» Глинки, – попросил я.

Мы сидели в старой ленинградской квартире в уютной комнате и слушали «Вальс-фантазию». Я ощущал себя в другом мире.

Потом Борис показывал мне фотографии, открытки, вырезки из газет и журналов, связанные с жизнью и творчеством Галины Улановой. Борис собирал все, что только мог достать об этой артистке.

И после этого, получая увольнения, я часто заезжал к родственникам. Обычно, бывая у них, скромно сидел в уголке и больше слушал, чем говорил. Но как-то речь зашла о международном положении, и кто-то из гостей, когда возник вопрос, будет ли война, неожиданно обратился ко мне:

– Интересно, что думает на этот счет военный?

– Война будет, – сказал я спокойно, – ожидается в этом году.

– Интересно, с кем же?

– С Германией, – ответил я.

Мой ответ вызвал у всех ироническую улыбку, а Борис сказал:

– Войны не может быть. Надо газеты читать. У нас же договор с Германией.

Динамо́вцы в чемодане

В конце апреля 1941 года я, как и многие мои друзья, призванные вместе со мной в армию, начал готовиться к демобилизации. Один из батарейных умельцев сделал мне за пятнадцать рублей чемоданчик из фанеры. Я выкрасил его снаружи черной краской, а внутреннюю сторону крышки украсил групповой фотографией футболистов московской команды «Динамо». Динамовцев я боготворил. Еще учась в седьмом классе, я ходил на футбол вместе со школьным приятелем, который у знакомого фотографа достал служебный пропуск на стадион «Динамо». И когда мимо нас проходили динамовцы (а мы стояли в тоннеле, по которому проходят игроки на поле), я незаметно, с замирающим сердцем, дотрагивался до каждого игрока. В этом же чемоданчике лежали и книги. Среди них Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка» (одна из моих самых любимых), ее мне прислали родители ко дню рождения. «Цемент» же Гладкова я кому-то дал почитать, и мне его так и не вернули, как и «Бродяги Севера» Кервуда.

Как я писал родителям, служба проходила хорошо. С мая вместе с ребятами находился на наблюдательном пункте нашей батареи, на станции Олелло. Это недалеко от нынешней станции Репино.

Прекрасные места – кругом зелень, тишина. Мы жили в двухэтажном доме, на крыше которого устроили застекленную вышку, где находился наблюдательный пункт. От пункта до батареи километров восемь. На НП мы жили впятером: Борисов, Борунов, Гусев, Крапивин и я. Продукты сразу дней на десять нам привозили на машине. Обслуживали себя сами. Начальство далеко от нас, а поэтому жилось весело.

Нижний этаж занимала семья полковника, помощника командира полка. Из Ленинграда к нему часто приезжал сын – долговязый парень в очках, студент-первокурсник. С ним мы подружились. Он часто меня приглашал в дом, и я с жадностью слушал пластинки с записями Шульженко, Утесова, Козина.

Мой приятель Борунов ухаживал за домработницей, которая жила при семье полковника. В этом же доме была еще одна домработница, тоже у полкового начальства, молоденькая девушка. И я про себя подумывал: «А не начать ли мне за ней ухаживать?» Мне нравилась эта милая девушка из деревенских, сообразительная, любознательная. Мы переглядывались с ней, улыбались при встрече друг другу. Она знала мое имя, а я ее нет.

В воскресенье у меня предполагалась увольнительная. И я хотел этот день провести с ней, тем более что ее хозяйева уезжали на весь день в Ленинград.

Воскресенье, 22 июня

В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции мы были обязаны немедленно выйти на линию связи искать место повреждения. Два человека тут же пошли к Белоострову и до двух ночи занимались проверкой. Они вернулись около пяти утра и сказали, что наша линия в порядке. Следовательно, авария случилась за рекой на другом участке.

Наступило утро. Мы спокойно позавтракали. По случаю воскресенья, взяв трехлитровый бидон, пошли с Боруновым на станцию покупать для всех пиво. Подходим к станции, а нас останавливает пожилой мужчина и спрашивает:

– Товарищи военные, правду говорят, что война началась?

– От вас первого слышим, – спокойно отвечаем мы. – Никакой войны нет. Видите – за пивом идем. Какая уж тут война! – сказали мы и улыбнулись.

Прошли еще немного. Нас снова остановили:

– Что, верно, война началась?

– Да откуда вы взяли? – забеспокоились мы.

Что такое? Все говорят о войне, а мы спокойно идем за пивом. На станции увидели людей с растерянными лицами, стоявших около столба с громкоговорителем. Они слушали выступление Молотова.

Как только до нас дошло, что началась война, мы побежали на наблюдательный пункт.

Любопытная подробность. Ночью связь была прервана.

А когда она снова заработала, то шли обычные разговоры: «“Ахтырка”, “Ахтырка”. Не видите ли вражеские самолеты?» («Ахтырка» – наши позывные.) Так продолжалось почти три часа. Мы про себя подумали: «Неужели с утра в воскресный день началось очередное учение?» Нас без конца спрашивали: «“Ахтырка”! Доложите обстановку...»

Прибегаем совершенно мокрыми на наблюдательный пункт и видим сидящего на крыльце дома сержанта Крапивина. Он спокойно курил. Заметив нас, спросил:

– Ну, где пиво?

– Какое пиво?! Война началась! – ошарашили мы его.

– Как? – переспросил Крапивин и кинулся к телефону. Да, в нашем доме никто о войне ничего не знал: ни военные, ни гражданские. Эту весть принесли мы.

По телефону нам приказали: «“Ахтырка”! Усилить наблюдение!»

Этого могли и не говорить. Мы и так все сидели с биноклями на вышке и вели наблюдение, ожидая дальнейших событий.

Первая военная ночь

Именно в эту ночь с 22 на 23 июня 1941 года гитлеровские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели «Юнкерсов-88», идущих на бреющем полете со стороны Финляндии.

Наблюдатель Борунов доложил по телефону:

– «Бобруйск»! Тревога! Два звена Ю-88 на бреющем полете идут с Териок на Сестрорецк.

В трубке слышны доклады всех батарей, команды тревоги.

– «Армавир» готов!

– «Винница» готова!

– «Богучар» готов!

С вышки нашего наблюдательного пункта видны гладь залива, Кронштадт, форты и выступающая в море коса, на которой стоит наша шестая батарея.

«Юнкерсы» идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем: наша батарея первой в полку открыла огонь.

Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно началась.

Один из вражеских самолетов сбила батарея нашего полка, которой командовал лейтенант Пимченков. Об этом мы узнали только к вечеру.

Как потом нам рассказывали, ребята после первого боевого крещения, выходя из нервного шока, долго смеялись и вспоминали, как командовал, сидя на корточках, Ларин, как пушка Лыткарева вначале повернулась не туда, как Кузовков залез под артиллерийский прибор. За годы войны я не раз видел, как люди, вылезая из щелей, стряхивая с себя комья земли и осознавая, что все обошлось благополучно – нет убитых и техника цела, – начинали громко смеяться. А многие изображали в лицах, кто и как вел себя во время боя.

За первый сбитый вражеский самолет командир батареи Пимченков получил орден.

В первый же день войны я с грустью подумал о своем чемоданчике, в котором лежали записная книжка с анекдотами, книги, фотография динамовцев, письма из дома и от нее – от той самой девочки, которую я полюбил в школе. Я понимал: о демобилизации и думать нечего.

Двое суток мы не спали. Потом с наступлением тишины все мгновенно заснули.

Держитесь до последнего патрона!

С тревогой следили мы за сводками Совинформбюро. Враг приближался к Ленинграду. Мы несли службу на своем наблюдательном пункте. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие части нашей пехоты. Оказывается, сдали Выборг.

Все деревья вдоль шоссе увешаны противогАЗами. Солдаты оставили при себе только противогАЗные сумки, приспособив их для табака и продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП. Когда противник был уже совсем близко, нам приказали:

– Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона!

А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки и к ним сорок патронов.

До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами прислали старшину Уличука, которого все мы ласково называли Улич. Мы обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот момент, когда трассирующие пули проносились над головами и кругом рвались мины.

Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью мы смотрели на пылающие дома.

У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих-ленинградцев.

Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидев своих.

Через несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения разведки.

С первого же дня войны на батарее завели журнал боевых действий. В тот день, когда мы возвратились, в нем появилась такая запись:

«Личный состав НП вернулся на точку. Батарея вела огонь по наземным целям противника в районе Белоострова. Расход – 208 снарядов. При поддержке артиллерии Кронштадта и фортов противник остановлен по линии старой границы в 9 километрах от огневой позиции батареи.

И. о. командира батареи лейтенант Ларин».

Вдоль реки в Сестрорецке гражданское население, в основном женщины, старики и подростки, рыло противотанковые рвы. По всей линии фронта, по всему перешейку возводились долговременные огневые точки. Чувствовалось – предстоит длительная оборона.

Подтяните ремешки

По сведениям, переданным из дивизиона, в районе Сестрорецка сброшены диверсанты – парашютисты противника. Личный состав батареи произвел проческу леса в районе батареи. Поиски не дали результата. На батарее установлены дополнительно два поста по охране огневой позиции. Командир батареи лейтенант Ларин.

13 ноября 1941 года.

Из журнала боевых действий

В первые дни войны на нашу территорию забрасывались немцы, переодетые в форму работников милиции, советских военных, железнодорожников. Многих из них ловили. Рассказывали, произошел и такой случай. Немец, переодетый в советскую военную форму, шел по Сестрорецку. На него неожиданно из-за угла вышел советский генерал. Немец растерялся и, вместо того чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул руку вперед, как это делали фашисты. Его тут же схватили.

Немцы сбрасывали листовки с призывом сдаваться. Они писали, что все ленинградцы обречены на голодную смерть и единственный выход – это сдаваться в плен. Для этого, как сообщалось в листовках, нужно при встрече с немцами поднять руки вверх и сказать пароль: «Штык в землю. Сталин капут». Фашисты утверждали, что в одно прекрасное утро они войдут в Ленинград без единого выстрела, потому что у защитников не будет сил поднять винтовки. В этих же листовках описывалась «замечательная» жизнь советских солдат в плену. Мне запомнилась большая фотолистовка с портретом молодого человека. Подпись под фотографией гласила: «Вы знаете, кто это? Это сын Сталина, Яков Джугашвили. Он перешел на сторону немцев». Я, как и мои товарищи, ни одному слову фашистов не верил.

Насколько помню, первое время Ленинград почти не бомбили. Кольцо блокады замыкалось постепенно. Но мне казалось, что голод наступил внезапно. Хотя на самом деле все было иначе. После войны, читая книгу с подробным описанием блокады Ленинграда, я был потрясен, как мало мы знали о том, что происходило в действительности.

Конечно, армия по сравнению с теми, кто находился в самом городе, снабжалась лучше. Впервые мы узнали о начинающемся голоде, когда к нам пришла женщина и, вызвав кого-то из бойцов (видимо, она раньше его знала), спросила, нет ли у нас остатков еды. Женщине дали полбуханки хлеба. Она долго благодарила и потом заплакала. В тот момент нам это показалось странным.

После Октябрьских праздников наш паек резко сократили, предупредив, что хлеб будем получать порциями. Мы не поверили, но с каждым днем хлеба выдавали все меньше и меньше. Потом сказали: «Второго на обед не будет».

– Ничего, ничего, скоро все войдет в норму, – успокаивал нас старшина. – А пока подтяните ремешки.

Но скоро наступил голод. У нас на батарее полагалось каждому по триста граммов хлеба в сутки. Часто вместо ста пятидесяти граммов хлеба выдавали один сухарь весом в семьдесят пять граммов. Другую половину пайка составлял хлеб – сто пятьдесят граммов, тяжелый, сырой и липкий, как мыло. Полагалось на каждого и по ложке муки. Она шла в общий котел и там взбалтывалась – получали белесую воду без соли (соли тоже не было). С утра у каптерки выстраивалась очередь. Старшина взвешивал порцию и выдавал. Подбирали даже крошки.

Многие, получая хлеб, думали: съесть все сразу или разделить? Некоторые делили по кусочкам. Я съедал все сразу.

Наступили холода. Утром, днем, вечером, ночью – даже во сне – все думали и говорили о еде. Причем никогда не говорили: хорошо бы съесть бифштекс или курицу. Нет, больше всего мечтали: «Вот бы хорошо съесть мягкий батон за рубль сорок и полкило конфет «подушечек»...

Начав курить в первый день войны, я через месяц бросил. Бросил не потому, что обладал сильной волей, а просто мне не нравилось курить. Наверное, это меня спасло от дополнительных мучений из-за отсутствия курева. Нам не выдавали табака, и заядлые курильщики очень мучились. Во время блокады самым дорогим в Ленинграде были хлеб и табак.

Помню, 23 февраля 1942 года, в День Красной Армии, нам доставили табак. Да какой – «Золотое руно»! Для курящих лучший подарок. Выдали по десять граммов. Решил покурить и я. Нас пять человек разведчиков и шестой командир, и мы договорились, что свернем одну

самокрутку и раскурим ее на всех. Закурил первый, сделал две затяжки и передал мне, а я затянулся, и у меня все поплыло перед глазами. Я потерял сознание и упал. Так сильно подействовал табак. Меня трясли, оттирали снегом, прежде чем пришел я в себя и сказал слабым голосом: «Вот это табачок!»

От постоянного голода острее ощущался холод. Надевали все, что только могли достать: теплые белье, по две пары портянок, тулупы, валенки. Но все равно трясло от холода.

Санинструктор постоянно всех предупреждал:

– Не пейте много воды.

Но некоторые считали, если выпьют много воды, то чувство голода притупится, и, несмотря на предупреждения, пили много и в конце концов опухали и совсем слабели.

Мы стояли в обороне. Старались меньше двигаться. Так прошли зимние месяцы. К весне у многих началась цинга и куриная слепота.

Как только наступали сумерки, многие слепли и только смутно, с трудом различали границу между землей и небом. Правда, несколько человек на батарее не заболели куриной слепотой и стали нашими поводырями. Вечером мы выстраивались, и они вели нас в столовую на ужин, а потом поводыри отводили нас обратно в землянки.

Кто-то предложил сделать отвар из сосновых игл. К сожалению, это не помогло. Лишь когда на батарею выдали бутылку рыбьего жира и каждый принял вечером по ложке этого лекарства и получил такую же порцию утром, зрение тут же начало возвращаться. Как мало требовалось для того, чтобы его восстановить!

В то время я особенно подружился с бойцом нашей батареи Николаем Гусевым. Мы делили с ним пополам каждую корочку хлеба, укрывались одной шинелью.

Из сержантов – в рядовые

Батарея дважды вела огонь по группе самолетов противника «Хейнкель-111». Сбит один самолет противника, который упал в Финский залив. Расход снарядов – 38 штук.

9 марта 1942 года.

Из журнала боевых действий

Все время продолжались массированные налеты фашистской авиации на Ленинград. Мы по многу ночей не спали, отражая налеты. В одну из таких ночей наша батарея (одна из трех батарей дивизиона) заступила на дежурство и должна была быть в полной боевой готовности, с тем чтобы по первой же команде открыть огонь. Наш комбат Ларин, жалая нас, сказал:

– Слушай, Никулин, – он обратился ко мне как к командиру отделения разведки, – пусть люди поспят хотя бы часа три, а ты подежурь на позиции. Объявят тревогу – сразу всех буди. Ну, в общем, сориентируешься.

Так мы и сделали.

И надо же, именно в тот момент, когда все заснули, батарею приехали проверять из штаба армии. Приходят проверяющие на батарею и видят: все спят, кроме меня. Скандал возник страшный. И тут Ларин тихо-тихо мне:

– Выручай, Никулин. Скажи, что в двенадцать ночи я велел меня будить, а ты этого не сделал, поэтому все и спят. Я тебя потом выручу, прикрою.

Я так и сказал. Наши ребята-разведчики возмутились:

– Да тебя под трибунал отдадут, ты что, сержант, с ума сошел?

Потом приехал следователь из особого отдела и выяснил, как все происходило. Я упорно стоял на своем.

После этого меня вызвали к командиру дивизиона. Он сказал:

– Зачем комбата покрываете?! Вы что, с ума сошли, знаете, чем это вам грозит?

Я продолжал упорно стоять на своем, мол, не комбата покрываю, а я сам во всем виноват. Тогда меня вызвали к начальнику штаба полка. Поехал я к нему.

Начальник штаба полка в упор спросил меня:

– Что, командира выручаешь?

И я честно во всем признался. Рассказал обо всем. Потому что любил начальника штаба и доверял ему. И ни меня, ни Ларина он не выдал, но за потерю бдительности и слабую дисциплину меня приказом разжаловали из сержанта в рядовые. Так я снова стал простым бойцом. А потом через два месяца мне снова присвоили звание сержанта.

Ленинград в блокаде

С утра до наступления темноты каждый день батарея ведет огонь по вражеской авиации. Сегодня прямым попаданием снаряда сбито два Ю-88 и подбит один Ю-87. Часть вражеских летчиков погибла, три взяты в плен.

14 апреля 1942 года.

Из журнала боевых действий

Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли. Дома покрыты снегом с наледью. Стены все в потеках. В городе не работали канализация и водопровод. Всюду огромные сугробы. Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены, многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой, дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни.

Часто трупы лежали прямо на улицах, и это никого не удивляло. Бредет человек по улице, вдруг останавливается и... падает – умер.

От холода и голода все казались маленькими, высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой. Город бомбили и обстреливали. Нельзя забыть трамвай с людьми, разбитый прямым попаданием немецкого снаряда.

А как горели после бомбежки продовольственные склады имени Бадаева – там хранились сахар, шоколад, кофе... Все вокруг после пожара стало черным. Потом многие приходили на место пожара, вырубали лед, растапливали его и пили. Говорили, что это многих спасло, потому что во льду остались питательные вещества.

В Ленинград мы добрались пешком. За продуктами для батареи ходили с санками. Все продукты на сто двадцать человек (получали сразу на три дня) уместались на небольших санках. Пятеро вооруженных солдат охраняли продукты в пути.

Я знаю, что в январе 1942 года в отдельные дни умирало от голода по пять-шесть тысяч ленинградцев.

Наш политрук как-то пошел навестить живших в Ленинграде отца и мать. Он вернулся на батарею весь черный. Потом рассказывал, что, с трудом дойдя до своего дома, зашел в нетопленную комнату и увидел мать и отца, лежавших на кровати. Оба они умерли от голода.

От дистрофии умирали дети, женщины, старики. К смерти привыкли. Город наводнили крысы.

Весной 1942 года, попав в Ленинград с заданием командования, я решил зайти к маминим родственникам.

Долго добирался пешком. Дошел до дома и на втором этаже на лестничной клетке увидел труп, на третьем тоже труп, но его кто-то прикрыл мешковиной. Поднявшись к родным, долго стучал в дверь. Наконец тоненьким голосом бабушка Леля спросила:

– Кто это?

Когда дверь открылась, я с трудом ее узнал – так она изменилась. Высохшая, с огромными печальными глазами, озябшими руками, она с трудом признала меня. У меня в сумке осталось немножко сухого гороха и граммов пятьдесят табака. Все это я отдал бабушке Леле.

– Ой, горох, – сказала она чуть слышно. – Я его долго буду есть.

Бабушка Леля рассказала, что троюродного брата Бориса, того, который смеялся над мной, доказывая, что войны не может быть, убили под Ленинградом, что дядя мой умер от голода, а тетка успела эвакуироваться. Спустя месяц бабушка умерла.

Сложно и трудно было. Тем не менее к Новому году на дивизионном командном пункте мы дали концерт самодеятельности.

Не очень веселый концерт, но все-таки концерт!

Я конферировал, ребята читали стихи, пели под гитару, а пожилой дивизионный писарь развеселил всех, исполнив старую шансонетку «Вот я мастер часовой».

Наше выступление потом с удовольствием смотрели на соседних батареях. Хотя к приезжающим с концертами самодеятельности в то время относились довольно настороженно, боясь, что придется кормить артистов.

Помню, как один организатор передвижной бригады самодеятельности подошел к нам и попросил:

– Ребята, у вас же есть винтовки, подстрелите мне ворону.

Мы ему объяснили, что всех ворон давно перебили.

– Жаль, – сказал он. – Я бы из нее такой суп сварил, что пальчики оближешь.

Бочка с табаком

В результате неожиданно сильной оттепели вода залила погребки с боеприпасами. Спасая боеприпасы, самоотверженно работали по горло в ледяной воде младший сержант Лыткин и трубочный, ефрейтор Клопов. Они спасли от порчи 60 ящиков со снарядами.

10 марта 1943 года.

Из журнала боевых действий

Однажды около станции Тарховка я увидел мужчину с небритым опухшим лицом. Он тонким голосом монотонно, с небольшими интервалами тянул одно и то же слово:

– Ку-ри-и-и-ть! Ку-ри-и-ить!..

Комсоставу тогда выдавали тоненькие папироски, так называемые «дистрофики», в которых табак замешивался пополам с листьями.

Какой-то капитан, сжалившись над несчастным, подошел к нему и дал такую папироску. Тот дрожащими руками взял ее, прикурил, затянулся... и как-то странно покачнувшись, упал и умер.

Все остро ощущали отсутствие табака. Курильщики просто сходили с ума, и все мучительно думали, где достать хотя бы на одну самокрутку. Жалели о том, как нерасчетливо курили в мирное время. И я вспомнил, как до войны наши ребята курили около столовой, сидя на двух скамеечках. Перед нами стояла врытая в землю бочка с водой, в которую все кидали окурки – толстые «бычки» недокуренных самокруток. Кто-то из разведчиков предложил:

– А что, если старую бочку отрыть, отогреть, вода из нее вся уйдет, а табак, подсушив, можно будет использовать.

Идея всем понравилась. Мы пришли на то место, где раньше курили, сразу нашли бочку, доверху наполненную льдом, сквозь который виднелись вмерзшие окурки.

Два дня мы вырубали бочку из замерзшей земли. Слабыми были. Вся батарея приходила и интересовалась, как идут дела. Многие заранее просили:

– Ребята, потом дадите на затяжечку?

– Ну конечно, – отвечали мы. – Какой может быть разговор!

Наконец бочку отрыли, вытащили, разожгли около нее костер и стали вытапливать воду.

Вода вытекала через маленькие дырочки. Табак оседал на дно.

Затем тщательно отделяли его от мусора. Потом положили табак на лист железа и стали сушить около печки.

Поднимался пар. Все, как загипнотизированные, смотрели, как выпаривается вода.

Наконец, когда все просохло, мы просеяли табак и сделали первую самокрутку. Первый человек торжественно сделал затяжку... Все приготовились увидеть у него на лице улыбку блаженства. А он скривился, сплюнул и спокойно передал самокрутку другому...

Оказывается, никотин-то весь ушел в воду. Наш табак стал хуже травы. Просто дымил – и все, а вкуса никакого. С таким же успехом мы могли курить сено или сухие листья.

Тем не менее когда к нам пришли прибористы, жившие недалеко от нашей землянки, то мы все делали вид, будто курим наслаждаясь, и этим немного их помучили. А когда они узнали, в чем дело, то все смеялись. Смеяться смеялись, но разочарование все-таки испытали огромное.

Весной 1943 года

Огневая позиция подверглась артиллерийскому обстрелу.

На боевом посту погиб у орудия сержант Иванов, тяжело ранило младшего сержанта Елизарова и ефрейтора Рачкова.

3 апреля 1943 года.

Из журнала боевых действий

Весной 1943 года я заболел воспалением легких и был отправлен в ленинградский госпиталь. Через две недели выписался и пошел на Фонтанку, 90, где находился пересыльный пункт. Я просился в свою часть, но, сколько ни убеждал, ни уговаривал, получил назначение в 71-й отдельный дивизион, который стоял за Колпином, в районе Красного Бора. В новую часть я так и не прибыл, потому что меня задержали в тыловых частях, примерно в десяти-пятнадцати километрах от дивизиона. И тут произошло неожиданное. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд... А больше ничего не слышал и не помнил – очнулся, контуженный, в санчасти, откуда меня снова отправили в госпиталь, уже в другой.

После лечения контузии меня направили в Колпино, в 72-й отдельный зенитный дивизион. Появился я среди разведчиков первой батареи при усах (мне казалось, что они придают моему лицу мужественный вид), в лохматой шапке, в комсоставских брюках, в ботинках с обмотками – такую одежду получил в госпитале при выписке.

Меня сразу назначили командиром отделения разведки. В подчинении находились четыре разведчика, с которыми у меня быстро наладились хорошие отношения. Я им пел песни, рассказывал по ночам разные истории. Тогда же начал учиться играть на гитаре. Старшина батареи обучил меня аккомпанировать на старенькой семиструнной гитаре «Гоп со смыком». На гитаре, хотя и выучил всего пять аккордов, я играл с радостью. Под эти аккорды

можно исполнять любые песни, и я пел. Много и часто. Пел песни из знаменитой тетради, которая прошла со мной всю войну и стала потрепанной и засаленной. В нее записывал песни, услышанные по радио, в кино, на концертах самодеятельности.

Самым большим успехом я пользовался у Путинцева – вестового нашего командира батареи. Путинцеву было за пятьдесят. Он занимался хозяйством: носил обед, прибирал в землянках комсостава, топил печки, починял, если что сломается.

Странный был этот «дед» – так мы его прозвали. Нам, двадцатилетним, он казался стариком. Я спел ему как-то песню, которая начиналась словами: «Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала...»

Путинцев в этом месте радостно вскрикнул, засмеялся, а потом сказал:

– Ну надо же, сержант Никулин придумает: Махачкала... такого и города-то нет.

Комбатом у нас был старший лейтенант Василий Хинин – хороший, справедливый командир. Мы с ним часто говорили о книгах, фильмах. Летом 1943 года я стал старшим сержантом, помощником командира взвода.

Две встречи

На батарее в торжественной обстановке были вручены медали за оборону Ленинграда. Медали получили 45 человек.

12 августа 1943 года.

Из журнала боевых действий

В годы войны происходили удивительные встречи. Две из них мне особенно запомнились.

Первая связана со старшим сержантом Николаем Беловым. Он сам из Пушкина, и когда мы стояли в обороне около этого городка, то Николай в бинокль видел свой дом. Пушкин заняли немцы, а там остались его отец и мать. Когда мы вошли в город, то никого из жителей не видели. Отступая, немцы Пушкин почти сожгли. Лишь на третий день после нашего вступления в Пушкин (за освобождение этого города нашему дивизиону присвоили название – Пушкинский) из деревень и землянок в город стали возвращаться местные жители. Некоторые из них внимательно вглядывались в каждое лицо, надеясь найти среди бойцов своих родных, близких. А одна женщина стояла у дороги и у всех проходящих военных спрашивала:

– У вас нет в части Коли Белова, сына моего?

Проходили по этой дороге и мы. Она и у нас спросила. Мы с радостью ей сказали:

– Есть у нас Коля Белов. Он из Пушкина.

Так мать встретила сына. Отца Николая фашисты казнили в первый же день вступления в город. Мать успела уйти в одну из деревень, где жила в землянке.

Коле Белову дали один день для свидания с матерью.

В обороне под Пулковом я встретил в звании капитана знаменитого Усова. До войны Усов был судьей Всесоюзной категории по футболу. Небольшого роста, толстенький, с виду даже несколько комичный, он среди болельщиков футбола считался самым справедливым судьей.

Про Усова мне рассказали интересную историю.

Блокадной зимой пошли шесть человек в разведку. Среди них и Усов. Разведчики взяли «языка». Тот стал орать. К нему подоспела помощь. Все, что произошло дальше, Усов не помнил. Только осталось в памяти, как его стукнули по голове чем-то тяжелым...

Очнулся Усов и ничего не может понять: видит перед собой плакат с изображением футболиста с мячом и на плакате надпись не по-русски.

Огляделся он вокруг и понял, что находится в немецкой землянке. Кругом тихо. Голова у него перевязана. Тут входит обер-лейтенант и спрашивает:

– Ну как вы себя чувствуете? Ты меня помнишь?

– Нет, – отвечает Усов.

Тогда обер-лейтенант на ломаном русском языке начал рассказывать, что с Усовым он встречался в Германии. Усов приезжал на международный матч и судил игру. Немец тоже был футбольным судьей.

Усов вспомнил, что действительно они встречались в начале тридцатых годов, вместе проводили вечера, обменялись адресами, обещали друг другу писать.

И вот Усов попал к нему в плен.

Обер-лейтенант спрашивает:

– Есть хочешь?

Усов, понятное дело, хотел. Сели они за стол, а там шнапс, консервы. Усов жадно ел, а про себя соображал, как бы сбежать. А обер-лейтенант ему предлагает:

– Живи здесь. Тебе ничего не будет. Ты никакой не пленный. Ты мой приятель, гость. Мы с тобой встретились, и я пригласил тебя к себе. Пожалуйста, живи здесь. Я тебя помню. Ты мне еще тогда понравился. Я здесь хозяин! Моя рота в обороне стоит, и вообще я похлопочу, чтобы тебя отправили в Дрезден. Будешь жить у моих родных. Устроят тебя на работу. А когда закончится война, поедешь домой.

Усов его внимательно слушал, но ответа не давал. А немец подливает ему шнапс, угощение подкладывает и продолжает:

– Только у меня к тебе просьба одна будет, маленькая... У меня жена, дети, сам понимаешь. Ты должен мне помочь. Иначе трудно хлопотать за тебя. Давай утром выйдем на передний край, и ты только покажешь, где у вас штаб, где склады с боеприпасами, где батареи. Ну, сам знаешь, что мне нужно.

Утром обер-лейтенант вывел Усова на наблюдательный пункт. Там стереотруба стоит, рядом немцы покуривают. Недалеко, метрах в ста примерно, проходит нейтральная полоса.

Усов постоял, подумал и сказал:

– Ну, давай карту!

Немец подал карту. Усов будто бы рассматривает ее, а сам краем глаза видит, что немец прикуривает и отвернулся от него: зажигалка гасла на ветру, и обер-лейтенант ее всем телом накрывал, чтобы огонь не погас. Тогда Усов вскочил на бруствер и давай что есть силы бежать.

Потом он рассказывал: «Если бы засечь время, наверняка рекорд по бегу поставил. Бегу я по нейтралке и слышу, как мой немец кричит: “Дурачок, дурачок, вернись назад”. Немцы опомнились и из всех траншей начали палить. А он им приказывает: “Не стрелять! Не стрелять!”, но все-таки ранило меня в плечо, когда я уже прыгал в наши траншеи».

Прошло время. Усов поправился. Наши перешли в наступление. В одном из прорывов и он принимал участие. И довелось ему увидеть ту самую немецкую землянку, в которой его уговаривали остаться.

Дверь землянки оказалась сорванной, на пороге лежал мертвый немец, а со стены на Усова смотрел с афиши улыбающийся футболист с мячом в руках.

Прорыв блокады

Войска фронта перешли в наступление.

В 9.20 батарея открыла огонь по огневым точкам противника.

Расход снарядов – 400 штук. Особо отличился орудийный расчет старшего сержанта Андреева, заряжающий – Аполинский.

14 января 1944 года.

Из журнала боевых действий

В 1944 году началось наше наступление на Ленинградском фронте. С огромной радостью мы слушали Левитана, читающего по радио приказы Верховного Главнокомандующего.

Навсегда вошло в мою жизнь 14 января 1944 года – великое наступление, в результате которого наши войска сняли блокаду и отбросили фашистов от Ленинграда. Была продолжительная артиллерийская подготовка. Двадцать градусов мороза, но снег весь сплавился и покрылся черной копотью. Многие деревья стояли с расщепленными стволами. Когда арт-подготовка закончилась, пехота пошла в наступление.

Наша батарея снялась, и мы двинулись из Пулкова. Мы ехали, а кругом зияли воронки, всюду лежали убитые гитлеровцы. К вечеру на дороге образовалась «пробка».

Ночь. Темно. Поток из бесчисленного количества людей и военной техники остановился. Невозможно было сделать дальше ни шагу. На наше счастье, стояла плохая погода, и немцы не смогли применить авиацию. Если бы они начали нас бомбить, то, конечно, нам не поздоровилось бы. Наш командир Хинин сразу понял опасность такой «пробки»: если утром будет летная погода, а «пробка» не рассосется, то нам придется прикрывать дорогу; и он дал команду всей батарее отойти в сторону от шоссе.

Наши тягачи отъехали метров на четыреста от дороги. Батарея стала окапываться. Мы, группа разведчиков, остановились около блиндажа, у входа в который лежал убитый рыжий фашист. Около него валялись фотографии и письма. Мы рассматривали фотографии, читали аккуратные подписи к ним: с датами, когда и что происходило.

Вот свадьба убитого. Вот он стрижется. Его провожают на фронт. Он на Восточном фронте стоит у танка. И вот лежит здесь, перед нами, мертвый. Мы к нему не испытывали ни ненависти, ни злости.

До этого мы не спали несколько ночей – страшно устали, промокли. А из-за оттепели все раскисло. Кругом грязь. Сыро. Противно. Зашли в пустой немецкий блиндаж, зажгли копилку и достали сухой паек: колбасу, сухари, сахар.

Стали есть. И тут увидели, как по выступающей балке спокойно идет мышь. Кто-то на нее крикнул. Мышь не обратила на это никакого внимания, прошла по балке и прыгнула к нам на стол. Маленькая мышка. Она поднялась на задние лапки и, как делают собаки, начала просить еду. Я протянул ей кусочек американской колбасы. Она взяла ее передними лапками и начала есть. Мы все смотрели как замороженные.

Видимо, просить еду, не бояться людей приучили мышь жившие в блиндаже немцы.

Петухов замахнулся автоматом на незваную гостью. Я схватил его за руку и сказал:

– Вася, не надо.

– Мышь-то немецкая, – возмутился Петухов.

– Да нет, – сказал я. – Это наша мышь, ленинградская. Что, ее из Германии привезли? Посмотри на ее лицо...

Все рассмеялись. Мышка осталась жить.

(Когда после войны я рассказал об этом отцу, он растрогался, считая, что я совершил просто героический поступок.)

Утром небо слегка прояснилось, и над нами два раза пролетела вражеская «рама» – специальный самолет-разведчик. Через два часа по нашей позиции немцы открыли сильный огонь из дальнобойных орудий.

Разрывов я не слышал, потому что крепко спал.

– Выносите Никулина! – закричал командир взвода управления.

Меня с трудом выволокли из блиндажа (мне потом говорили, что я рычал, отбрыкивался, заявляя, что хочу спать и пусть себе стреляют) и привели в чувство. Только мы отбежали немного от блиндажа, как увидели, что он взлетел на воздух: в него угодил снаряд. Так мне еще раз повезло.

Фриц Бауэр

Батарея заняла позицию в районе деревни Сузи. Ночью противник произвел обстрел шоссе из дальнобойных орудий.

Поврежден один трактор ЧТЗ.

16 января 1944 года.

Из журнала боевых действий

Когда мы рассматривали фотографии, документы убитого рыжего немца и выяснили, что его зовут Фриц Краузе, я вспомнил о Фрице Бауэре.

В нашем пятом «А» классе я дружил с Эриком Янкопом. Потом познакомились и подружился наши родители. Его мать, Клавдия Семеновна, заведовала небольшим детским садом и вместе с моей мамой вела общественную работу в нашей школе.

Однажды, когда я с родителями пошел к ним в гости, она, разливая чай, как бы невзначай сказала моей маме:

– Вы знаете, Лидия Ивановна, сейчас в Москву часто приезжают иностранные делегации. Бывают и дети из-за границы. Вот в детском садике при Наркомпросе выступали американские пионеры. А в наш сад, конечно, никогда никого не пришлют. И знаете, что я надумала, хорошо бы ваш Юрочка пришел бы к нашим ребятишкам как иностранец. Ну, например, будто он немецкий пионер. Ведь как все нам будут завидовать!

Муж Клавдии Семеновны, худой, угрюмый латыш, взорвался:

– Да ты думаешь, что говоришь? Это же обман. И потом никто в это не поверит.

– Ну и пусть обман, пусть, – затараторила Клавдия Семеновна, – зато сколько радости детям: к ним приехал иностранец! А потом Юрочка похож на немца. Он такой белобрысенький...

Моя мама, прихлебывая чай, сказала:

– Не выдумывайте ерунду. Нечего Юре морочить голову вашим детям.

Тогда Клавдия Семеновна начала обрабатывать моего отца. А он, принимая все это с юмором, подмигнув мне, спросил:

– Ну как, Юра, сыграешь немца?

– А как же я буду говорить? – растерялся я.

– А ты не говори, – засмеялся отец. – Ты вроде глухонемой иностранец. Объясняться можно и жестами.

– Никакой Юра не глухонемой! – Клавдия Семеновна радостно встрепенулась, почувствовав поддержку, и продолжала: – Пусть Юра говорит по-русски, но немного с акцентом, как Карл Вальтерович. – И она кивнула в сторону мужа.

Мама замяла разговор, переведя его на другую тему. Однако Клавдия Семеновна, видимо, в душе затаила эту идею. Через день она сообщила по телефону, что все «согласовала со своими» и «все очень обрадовались», но только нужно идти мне не одному, а с какой-нибудь девочкой.

На следующий день снова звонок и опять уговоры.

Отец не возражал, чтобы я пошел.

– Ну пускай мальчик сходит, – говорил он матери. – Что он, немца не сыграет? Чай им дадут с чем-нибудь вкусеньким.

(«Будет для них шикарный чай с подарками», – обещала Клавдия Семеновна.)

В конце концов мама махнула рукой, делайте, мол, что хотите.

Решили, что в детский сад пойду вместе с Таней Холмогоровой. Таня отнеслась к предложению спокойно, спросив только, в каком платье полагается идти.

Одежду для нас подбирали старательно. Для Тани это не составило проблемы. А вот мне собирали костюм по разным знакомым. Штаныгольф попросили у родителей одного мальчика во дворе. У кого-то разыскали туфли с пряжками (я все переживал, что они девчачьи). Клетчатую рубашку-ковбойку взяли у Эрика. Пионерские галстуки нам сделали синими. На голову я надел берет.

Решили говорить по-русски, но с акцентом, а из немецких слов только: «гутен таг», «данке», «рот фронт»...

За день до посещения спохватились: а что немецкие пионеры будут делать, что говорить? Выручила фантазия отца. Выдвинув из-под кровати чемодан, где у него хранился реквизит для кружка самодеятельности, который он вел, отец извлек оттуда старый черный цилиндр, смятый в гармошку (видимо, на него кто-то сел). Потом с полчаса репетировал со мной шепотом – что и как мне говорить. Мама все время приговаривала:

– Только не выдумывай, Володя, ерунды.

Настал день нашего выступления. «Немецких пионеров» повезли на такси к детскому саду. Когда я увидел в окнах лица детей, которые с любопытством нас разглядывали, меня забила нервная дрожь.

Цилиндр, завернутый в немецкую газету (ее выписывала домработница наших соседей – обрусевшая немка), я судорожно прижимал к груди.

Вошли в зал.

– Дети! У нас в гостях немецкие пионеры! – крикнула неестественно высоким голосом Клавдия Семеновна.

Дети радостно захлопали в ладоши. Когда наступила тишина, она, указывая на меня, громко объявила:

– Фриц Бауэр!

Я, глотнув воздуха, сказал:

– Гутен таг...

Опять все захлопали.

Таню представили как Грету Миллер. Потом нас посадили на почетные места, и дети исполняли хором песни и танцевали «Лезгинку».

Наконец пришла очередь нашего выступления.

Я встал и произнес отрепетированную с отцом речь:

– Дети! Ми есть немецкий пионер... Ми биль первый май – демонстрация. Полиций нас разгоняль... Один буржуй на лошадь ехаль на меня. Я схватил камень и збил с него шляп. Вот он!.. – На последнем слове я развернул газету и показал всем мятый цилиндр. Успех превзошел все ожидания. Дети захлопали в ладоши и с криками подбежали ко мне. Все хотели потрогать подлинный цилиндр с буржуя.

Клавдия Семеновна, не зная об этом моем трюке, ахнула, вся засияла от удовольствия и захлопала громче всех.

На этом официальная встреча с «иностранцами» закончилась. На прощание я успел крикнуть под аплодисменты детей: «Рот фронт», и нас с Таней повели в отдельную комнату пить чай.

К чаю подали шоколадные конфеты, пирожные, апельсины и красную икру.

Когда толстая женщина в белом халате наливала мне вторую чашку чаю, я смущенно сказал:

– Данке.

– Можешь мне отвечать по-русски, – шепнула она. – Я все знаю.

Когда нас повезли домой, Таня сказала единственную за все время фразу:

– Как-то стыдно мне было...

Я ничего ей не ответил, но на душе остался неприятный осадок, будто я что-то украл и об этом узнали. Через два дня Клавдия Семеновна передала нам приглашение еще из одного детского сада, которым заведовала ее приятельница.

На этот раз мама твердо сказала – нет, да и я не очень хотел ехать.

Спустя месяц, возвращаясь с друзьями из школы, я встретил женщину с мальчиком, который вдруг начал дергать женщину за рукав и, показывая на меня пальцем, кричал на всю улицу:

– Мама, смотри, мама! Немецкий пионер! Немецкий пионер!

Я, покраснев, отвернулся. Когда они прошли, ребята меня спросили:

– Чего это он на тебя?

– Наверное, псих, – ответил я.

На войне как на войне

Получен приказ занять позицию в районе Тепляково. Переезд в 120 километров продолжался двое суток. В лесу по пути были оставлены два орудия, которые вели огонь прямой наводкой по группе штурмовиков, выпустив 23 снаряда. За недостатком горючего была занята позиция в районе деревни Средний Путь.

23 января 1944 года.

Из журнала боевых действий

Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как этот страх проявляется. С одними случались истерики – они плакали, кричали, убегали. Другие переносили внешне все спокойно.

Начинается обстрел. Ты слышишь орудийный выстрел, потом приближается звук летящего снаряда. Сразу возникают неприятные ощущения. В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь: «Ну вот, это все, это мой снаряд». Со временем это чувство притупляется. Уж слишком часты повторения.

Но первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто.

Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать. Но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых лежали рядами убитые люди: как шли они в атаку, так и скопил их всех пулемет. Я видел тела, разорванные снарядами и бомбами, но самое обидное – нелепая смерть, когда убивает шальная пуля, случайно попавший осколок.

Во время одного из привалов мы сидели у костра и мирно беседовали. Мой приятель, тоже москвич, показывал всем письма, а в них рисунки его сына.

– Вот парень у меня хорошо рисует, – сказал он, радуясь, – в третьем классе учится. Жена пишет, что скучает.

В это время проходил мимо командир взвода. Он вытащил из своего пистолета обойму и, кинув его моему земляку, попросил:

– Почисти, пожалуйста.

Солдат, зная, что пистолет без обоймы, приставил дуло к виску, хитро подмигнув нам, со словами: «Эх, жить надоело» – нажал на спусковой крючок. Видимо, решил пошутить.

И тут раздался выстрел. Парень замертво упал на землю. Лежит, а в виске у него красная дырочка, в зубах дымящаяся сигарка.

Ужасная смерть! Нелепая. Глупая.

Конечно, это несчастный случай. В канале ствола пистолета случайно остался патрон.

Каждый раз, когда на моих глазах гибли товарищи, я всегда говорил себе: «Ведь это же мог быть и я».

Служил у нас чудесный парень, Герник. Как-то ночью над нашей позицией пролетел самолет и сбросил небольшую бомбу примерно в сорока-пятидесяти метрах от того места, где спал Герник. Бомба взорвалась, и крошечный осколок пробил ему голову, угодив прямо в висок. Так во сне Герник и умер. Утром будим его, а он не встает. Тогда и заметили маленькую дырочку. Положи он голову на несколько сантиметров правее – остался бы жив.

А смерть командира орудия Володи Андреева... Какой был великолепный парень! Песни пел замечательные. Стихи хорошие писал и как нелепо погиб. Двое суток мы не спали. Днем отбивались от эскадрилий «юнкерсов», которые бомбили наши войска, а ночью меняли позиции. Во время одного переезда Володя сел на пушку и заснул и во сне упал с пушки. Никто этого не заметил, пушка переехала Володю. Он успел перед смертью только произнести: «Маме скажите...»

Вспоминая потери близких друзей, я понимаю – мне везло. Не раз казалось, что смерть неминуема, но все кончалось благополучно. Какие-то случайности сохраняли жизнь. Видимо, я и в самом деле родился в сорочке, как любила повторять мама.

Как-то сижу в наспех вырытой ячейке, кругом рвутся снаряды, а недалеко от меня в своей щели – Володя Бороздинов. Он высовывается и кричит:

– Сержант, иди ко мне. У меня курево есть. (К тому времени я снова начал курить.)

Только перебежал к нему, а тут снаряд прямым попаданием – в мою ячейку. Какое счастье, что Бороздинов позвал меня!

Незабываемое впечатление осталось у меня от встреч с «катюшами». Мы рыли запасную позицию для батареи, и вдруг метрах в трехстах от нас остановились странные машины.

– Смотрите, пожарные приехали, – сказал кто-то шутя.

Машины расчехлили, мы видим, на них какие-то лестницы-рельсы. Вокруг копошатся люди. К нам подходит лейтенант и говорит:

– Ребята, ушли бы отсюда, стрелять будем.

– Да стреляйте, ради бога, – ответили мы.

– Ну, как хотите, только не пугайтесь.

Мы посмеялись и продолжали копать.

Смотрим, от машин все люди отбежали далеко, только один водитель остался в кабине. И вдруг поднялся такой грохот, огонь и дым, что мы не знали, куда деться. И действительно, перепугались. Лишь потом опомнились и сообразили, что это стреляли машины. Глядим в сторону противника, а там прямо из земли вздымаются огромные огневые грибы-шапки и в разные стороны разлетаются языки пламени. Вот это оружие! Мы ликовали, восторгаясь им. Машины быстро развернулись и уехали.

Так на войне мы познакомились с реактивными минометами, или, как их все называли, «катюшами». Меня умиляло слово «катюша». Вообще многие названия непосвященному человеку покажутся странными. Шестиствольные немецкие минометы бойцы прозвали «ишаками», а появившиеся у нас крупные реактивные снаряды, похожие на головастики, окрестили «андрюшами».

В трудные годы в короткие часы и минуты отдыха мне часто помогало чувство юмора.

Вспоминая такой эпизод. Всю ночь мы шли в соседнюю часть, где должны были рыть траншеи.

Темно, дождь, изредка вспыхивают осветительные ракеты. Пришли мы на место измученные, голодные. Худой майор подошел к нашей группе и спросил:

– Инструмент взяли? (Он имел в виду лопаты и кирки.)

– Взяли! – бодро ответил я за всех и вытащил из-за голенища сапога деревянную ложку. Все захохотали, майор тоже. Настроение у нас поднялось.

Под Гдовом, под Псковом

Батарея вела огонь по двум «Фокке-Вульф-190», обстреливающим позицию. Осколком легко ранен сержант Киселев. Один самолет сбит. Отлично стрелял пулемет старшего сержанта Караева и третий орудийный расчет сержанта Степанова. Расход – 12 снарядов.

5 марта 1944 года.

Из журнала боевых действий

Зимой 1944 года под Гдовом произошла удивительная встреча у нашего шофера Старовойтова.

Молодой парень – он работал на грузовике – вез продукты на батарею и нервничал, потому что опаздывал и знал, что все мы очень голодны. Но никак он не мог обогнать двух лошадей, обычных повозочных лошадей, которые подвозили патроны пехоте. Возчиками при лошадях, как правило, бывали пожилые люди.

Плетется Старовойтов за двумя повозками и проклинает повозочных на чем свет стоит. Он сигналист им и кричит, а они отругиваются не оборачиваясь. Это его и заело. Спрыгнул он со своей машины, подбежал к одному из них и как даст ему в ухо. Тот поднимается и говорит: – Ты что это?

И хотел сдачи ему дать, но тут застыли они друг перед другом – молодой шофер и старый ездовой, потому что встретились на военной дороге отец и сын.

Не знали ничего друг о друге более двух лет.

Сначала ушел на войну молодой парень, а потом пошел воевать и его отец.

И вот встреча.

Пошли они к комиссару нашему и командиру полка, где отец служил, и попросили, чтобы отец и сын продолжали службу в одной части. Им пошли навстречу. Так они до конца войны, до победы прошли вместе.

Когда я об этом узнал, то подумал: вот бы мне так встретиться с отцом, которого призывали в армию в 1942 году. Я не знал тогда, что мой отец уже демобилизовался по болезни.

Наше наступление продолжалось.

Ночью 14 июля 1944 года под Псковом мы заняли очередную позицию, с тем чтобы с утра поддержать разведку боем соседней дивизии. Лил дождь. Командир отделения сержант связи Ефим Лейбович со своим отделением протянул связь от батареи до наблюдательного пункта на передовой. Мы же во главе с нашим командиром взвода подготовили данные для ведения огня.

Казалось, все идет хорошо. Но только я залез в землянку немного поспать, как меня вызвал комбат Шубников. Оказывается, связь с наблюдательным пунктом прервалась, и Шубников приказал немедленно устранить повреждение.

С трудом расталкиваю заснувших связистов Рудакова и Шлямина. Поскольку Лейбовича вызвали на командный пункт дивизиона, возглавлять группу пришлось мне.

Глухая темень. Ноги разъезжаются по глине. Через каждые сто метров прозваниваем линию. А тут начался обстрел, и пришлось почти ползти. Наконец обнаружили повреждение. Долго искали в темноте отброшенный взрывом второй конец провода. Шлямин быстро

срастил концы, можно возвращаться. Недалеко от батареи приказал Рудакову прозвонить линию. Тут выяснилось, что связь нарушена снова.

Шли назад опять под обстрелом... Так повторялось трижды. Когда, совершенно обессиленные, возвращались на батарею, слышали зловещий свист снаряда. Ничком упали на землю. Разрыв, другой, третий... Несколько минут не могли поднять головы. Наконец утихло. Поднялся и вижу, как неподалеку из траншеи выбирается Шлямин. Рудакова нигде нет. Громко стали звать – напрасно. В тусклых рассветных сумерках заметили неподвижное тело возле небольшого камня. Подбежали к товарищу, перевернули к себе лицом.

– Саша! Саша! Что с тобой?

Рудаков открыл глаза, сонно и растерянно заморгал:

– Ничего, товарищ сержант... Заснул я под «музыку»...

До чего же люди уставали и как они привыкли к постоянной близости смертельной опасности!

Ку-ку

Батарея четыре раза вела огонь по группам бомбардировщиков «Юнкерс-87». Выпущено 103 снаряда. Сбито четыре самолета противника.
29 июня 1944 года.

Из журнала боевых действий

Наш повар Круглов (он из вологодских, говорил вместо «ч» – «ц» и все произносил на «о») удивительно любил врать.

Он часами мог рассказывать байки о никому не известном Ваське Бочкове, произнося его фамилию Бацьков. Этот Васька Бочков будто бы жил вместе с Кругловым в одной деревне и свободно одной рукой перебрасывал двухпудовую гирю через двухэтажный дом, выходил один на один бороться с парнями со всей деревни, всегда вылавливал самую большую рыбу.

Конечно, никто не верил Круглову, но все с удовольствием слушали и над его рассказами смеялись.

На батарее скопилось много немецких касок, гимнастеров, брюк. Когда мы расположились на короткий отдых в одном лесочке, я решил надеть немецкую каску, шинель, очки, взял немецкий автомат и пошел через чащу в ельник, где Круглов варил кашу на завтрак. Смотрю, он черпаком мешает что-то в котле. Я раздвинул кусты метрах в десяти от него и, высунув лицо в очках, произнес: «Ку-ку». Круглов посмотрел на меня и не поверил своим глазам. Я опять: «Ку-ку, ку-ку...» Круглов замер на месте и начал медленно вертеть черпаком кашу, тупо уставившись на меня.

Ничего не говоря, я поманил его пальцем. Круглов опустил черпак в котел и, небрежно запев: «Тра-ля, тра-ля-ля», тихонько сделал несколько шагов от котла в сторону, а потом как сиганет в кусты! И исчез.

Это случилось утром. Весь день Круглов не возвращался – кашу доваривали сами, да и обед тоже.

Вечером приходит наш повар, и все его спрашивают, где он был, что случилось. Он темнил, отвечал, что, мол, ходил за продуктами, искал барана.

Сколько и кто бы его ни пытал, он никому не сознался, что на самом деле драпанул от страха.

Тогда я не выдержал, подошел к нему и спрашиваю:

– Уж не попал ли ты к немцам, Круглов?

Он так пристально на меня посмотрел, как бы испытывал, но ничего не ответил.

Когда я эту историю рассказал своим разведчикам, они просто упали от хохота. Только старшина выслушал меня и глубокомысленно добавил:

– Ну повезло тебе, Никулин. Будь он не трус, взял бы свою берданку да как дал бы тебе меж глаз... И привет Никулину! Ку-ку...

«Мертвая коробочка»

Получен приказ занять новую позицию в районе северо-восточнее города Изборска. Наш маршрут 15 километров. На марше батарея прикрывалась пулеметной установкой. На колонну в пути произвели налет шесть «Фокке-Вульф-190». При отражении налета малой установкой старшего сержанта Караева был сбит один «Фокке-Вульф-190». Расход – 3 тысячи патронов. Отделение тяги в полевых условиях произвело ремонт тракторов.

3 августа 1944 года.

Из журнала боевых действий

Летом 1944 года мы остановились в городе Изборске. Под этим городом мы с группой разведчиков чуть не погибли. А получилось так. Ефим Лейбович, я и еще трое наших разведчиков ехали на полуторке. В машине – катушки с кабелем для связи и остальное наше боевое имущество. Немцы, как нам сказали, отсюда драпанули, и мы спокойно ехали по дороге. Правда, мы видели, что по обочинам лежат люди и усиленно машут нам руками. Мы на них не обратили особого внимания. Въехали в одну деревню, остановились в центре и тут поняли: в деревне-то стоят немцы.

Винтовки наши лежат под катушками. Чтобы их достать, нужно разгружать всю машину. Конечно, такое могли себе позволить только беспечные солдаты, какими мы и оказались. И мы видим, что немцы с автоматами бегут к нашей машине. Мы мигом спрыгнули с кузова и бегом в рожь.

Что нас спасло? Наверное, немцы тоже что-то не поняли: не могли же они допустить, что среди русских нашлось несколько идиотов, которые заехали к ним в деревню без оружия. Может быть, издали они приняли нас за своих, потому что один немец долго стоял на краю поля и все время кричал в нашу сторону:

– Ганс, Ганс!..

Лежим мы во ржи, а я, стараясь подавить дыхание, невольно рассматривая каких-то ползающих букашек, думаю: «Ах, как глупо я сейчас погибну...»

Но немцы вскоре ушли. Мы выждали некоторое время, вышли из ржаного поля, сели в машину, предварительно достав винтовки, и поехали обратно.

Почему наша машина не привлекла немцев, почему они не оставили засады – понять не могу. Наверное, оттого, что у них тогда была паника. Они все время отступали.

Нашли мы свою батарею, и комбат Шубников, увидев нас живыми, обрадовался.

– Я думал, вы все погибли, – сказал он. – Вас послали в деревню по ошибке, перепутали...

Так мне еще раз повезло.

А ведь неподалеку от нас во ржи лежали убитые наши ребята, пехотинцы. Мы потом, когда вернулись вместе с батареей, захоронили их. И только у двоих или троих нашли зашитые в брюки медальоны.

Николай Гусев называл их «мертвой коробочкой». Медальон был из пластмассы и завинчивался, чтобы внутрь не проникла вода. Такую коробочку выдали и мне. В ней лежал

свернутый в трубочку кусок пергамента с надписью: «Никулин Ю.В. Год рождения 1921. Место жительства: Москва, Токмаков переулок, д. 15, кв. 1, группа крови 2-я».

Коробочки выдавали каждому. И часто только по ним и определяли личность убитого. Неприятно это чувствовать, что всегда у тебя медальон «мертвая коробочка». Вспомнишь, и сразу как-то тоскливо становится.

«У киргиза было шесть верблюдов»

Личный состав батареи мылся в бане.

26 ноября 1944 года.

Из журнала боевых действий

Уже ближе к концу войны первый раз в жизни в Прибалтике я увидел море и вспомнил, как в детстве мои соседки, девочки Холмогоровы, каждое лето выезжали с родителями в Крым. Осенью возвращались загорелыми. Привозили с собой мешочки с ракушками и маленькие тросточки, на которых было выжжено «Крым – Ялта». Я им завидовал. Всю жизнь я мечтал увидеть море. И вот оно наконец передо мной. Но не такое, как я его представлял. Волны грязно-бурые, а на них качается кверху брюхом рыба, которую оглушили взрывы бомб и мин.

В боях за освобождение Риги мы понесли большие потери в людях и технике. В Риге пробыли недолго. А затем нас отвели в городок Валмиеру для переформирования и отдыха.

Из Валмиеры я послал родителям два бруска соленого масла, кусок сала, банку засахаренного меду – все это купил у местных жителей. Отправляя посылку, не очень-то верил, что она дойдет до Москвы – столица казалась далеким-далеким городом. Но родители все получили и прислали восторженное письмо.

К этому времени у меня скопилось много писем. Среди них и письма от нее – моей первой любви. Переписка началась сразу после финской войны.

Мама, встретив мою бывшую одноклассницу, дала ей номер моей полевой почты, и девочка мне написала небольшое письмо. Ничего особенного в нем не было – вопросы о моей службе, рассказы о знакомых ребятах. О себе она писала, что поступила учиться в институт иностранных языков. Письмо я несколько раз перечитывал и выучил наизусть. Сразу ответил ей большим посланием. Обдумывал каждую фразу, изошрялся в остроумии, на полях сделал несколько рисунков из моей армейской жизни. Так началась наша переписка, которая продолжалась до последнего дня службы.

После моих долгих просьб она прислала мне свою фотографию. Я прикрепил ее на внутреннюю сторону крышки чемодана, рядом с фотографией динамовцев. Иногда я писал бывшей однокласснице в землянке, поставив ее портрет перед коптилкой. Смотрел на него и писал. Я многозначительно подчеркивал, что скучаю без нее, что ее письма для меня всегда удивительная радость. А примерно за полгода до демобилизации в последней строчке дрожащей рукой выводил: «Целую крепко». Помню, как старшина, увидев фотографию на крышке чемодана, спросил:

– Твоя?

– Моя, – ответил я смущенно.

– Невеста, что ли?

Я кивнул головой.

– Ничего, шустренькая, – сказал он, вздохнув, и тут же начал вспоминать родных, которые остались в Ленинграде.

В Валмиере вызвал меня замполит командира дивизиона капитан Коновалов и сказал:

– Никулин, ты у нас самый веселый, много анекдотов знаешь, давай-ка организуй самодеятельность.

Я охотно взялся за это дело. Обойдя все батареи дивизиона, выявил более или менее способных ребят. К первому концерту мы готовились тщательно. Самому мне пришлось выступить в нескольких ролях.

Во-первых, быть организатором концерта.

Во-вторых, вести его как конференсье.

В-третьих, быть занятым в клоунаде.

В-четвертых, петь в хоре.

В-пятых, стать автором вступительного монолога и нескольких реприз между номерами.

Я выходил перед публикой и говорил:

– Как хорошо, что передо мной сидят артиллеристы. Поэтому я хочу, чтобы наш концерт стал своеобразной артподготовкой, чтобы во время концерта не смолкали канонада аплодисментов и взрывы смеха. Чтобы остроты конференсье, как тяжелые орудия, били зрителей по голове, а публика, получив заряд веселья, с веселыми минами на лицах разошлась по домам.

Возникло много сложностей с клоунадой. Я понимал, главное – найти отличного партнера. Мой выбор пал на моего друга сержанта Ефима Лейбовича. Все знали его как человека спокойного, уравновешенного, рассудительного, эрудированного – до войны он работал в газете. Ефим старше меня на два года. Он любил экспромты, шутки. Я решил, что из него выйдет отличный Белый и вместе мы составим довольно забавный дуэт.

В одной из разбитых парикмахерских мы нашли рыжую косу. Из нее сварили парик. Углем и губной помадой (помаду дали телефонистки) я наложил на лицо небольшой грим. Из папье-маше сделал нос. На тельняшку, которую одолжил у одного из наших бойцов, служившего ранее в морской пехоте, надел вывернутую мехом наружу зимнюю безрукавку, раздобыл шаровары и взял у старшины самого большого размера, 46-го, ботинки, а Ефим – Белый клоун – надел цилиндр, фрак. Под фраком – гимнастерка, брюки галифе и ботинки с обмотками.

В клоунаде, в репризах я использовал материалы, присланные из дома. Отец писал фельетоны о Гитлере, откликался на многие политические события, этот репертуар он всегда посылал мне.

В те дни немало говорилось об открытии ученых по расщеплению атомного ядра. На эту тему мы придумали репризу.

Я появлялся на сцене в своем диком костюме с громадным молотком в руках. Остановившись, поднимал что-то невидимое с пола и, положив на стул это «что-то», бил по нему молотком. Стул разлетался на куски. Вбегал партнер и спрашивал:

– Что ты здесь делаешь?

Я отвечал совершенно серьезно:

– Расщепляю атом.

Зал раскалывался от смеха (до сих пор не могу понять: почему так смеялись?).

Делали мы и такую репризу. Ефим спрашивал меня:

– Почему наша страна самая богатая и самая сладкая?

Я отвечал:

– Не знаю.

– Наша страна самая богатая, – говорил он, – потому, что у нас есть только один поэт Демьян Бедный. А наша страна самая сладкая потому, что в ней только один Максим Горький...

Тогда я спрашивал Ефима:

– А почему наша страна самая умная?

– Не знаю, – отвечал он.

И я с торжеством говорил:

– Наша страна самая умная потому, что в ней есть только один дурак... И это... ты!

Пользовалась успехом и такая острога. Я с невинным видом задавал партнеру «простую задачу».

– У киргиза было шесть верблюдов. Два убежали. Сколько осталось?

– А чего тут думать, – отвечал Ефим, – четыре.

– Нет, пять, – заявлял я.

– Почему пять?

– Один вернулся.

Солдаты, изголодавшись по зрелищам, по юмору, по всему тому, что когда-то украшало мирную жизнь, смеялись от души.

Выступления наши проходили хорошо. Больше всего мне нравилось конферировать и исполнять песенки. Это вообще голубая мечта моего детства – петь в джазе.

По решению командования мы выступали в городском театре. Сначала – для военных, а потом для гражданского населения.

В концерте, который мы давали в театре, принимал участие и начальник связи дивизиона старший лейтенант Михаил Факторович. Подружились мы с ним еще во время наступления в Эстонии. Зашли в какой-то заброшенный особняк. В доме все было перевернуто, а в углу стояло запыленное пианино. Факторович прямо засиял от радости. Он сел за инструмент и начал играть. Для меня это все выглядело неожиданным – довольно сухой человек по натуре, мой начальник, которому за все время службы я сказал слов пять, вдруг начал играть. От его игры все кругом словно засветилось. И его собственное лицо изменилось. Настроение у нас поднялось.

Маленькая глава о большой победе

Наступила весна 1945 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть Чехословакии. Шли бои на подступах к Берлину. Но большая группировка немецких войск, прижатая к морю, оставалась в Прибалтике.

Третьего мая мы заняли огневую позицию в районе населенного пункта с романтическим названием Джуксте. Восьмого мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту.

Казалось бы, ночь перед боем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали.

В нашей землянке лежали вповалку семь человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим: по нашим телам, пригнувшись, бегают разведчик Володя Бороздинов с криком «А-ааа, а-аа!». Мы смотрели на него и думали – уж не свихнулся ли он?

Оказывается, Бороздинов кричал «ура!». Он первым узнал от дежурного телефониста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа.

У всех проснувшихся был одновременно радостный и растерянный вид. Никто не знал, как и чем выразить счастье.

В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок. Пускали ракеты. Все небо искрилось от трассирующих пуль.

Хотелось выпить. Но ни водки, ни спирта никто нигде достать не смог.

Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай. Поджечь его! Многим это решение пришло одновременно... Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него как сумасшедшие. Прыгали, возбужденные от радости...

В журнале боевых действий появилась запись:

«Объявлено окончание военных действий. День Победы!

Войска противника капитулировали.

Вечером по случаю окончания военных действий произведен салют из четырех орудий – восемь залпов. Расход – 32 снаряда. 9 мая 1945 года».

Победа! Кончилась война, а мы живы! Это великое счастье – наша победа! Война позади, а мы живы! Живы!!!

На другой день мы увидели, как по шоссе шагали сдавшиеся в плен немцы. Те немцы, наступление на которых готовилось. Впереди шли офицеры, за ними человек пятнадцать играли немецкий марш на губных гармошках. Огромной выглядела эта колонна. Кто-то сказал, что за полдня немцев прошло более тридцати тысяч. Вид у всех жалкий. Мы разглядывали их с любопытством.

Вскоре наш дивизион окончательно приступил к мирной жизни. И 11 июня 1945 года в нашем боевом журнале появилась запись. Последняя запись в журнале боевых действий первой батареи 72-го отдельного Пушкинского дивизиона:

«Закончено полное оборудование лагеря в районе станции Ливберзе. Приступили к регулярным занятиям по расписанию.

Получено указание о прекращении ведения боевого журнала.

Командир батареи капитан Шубников».

И наступило мирное время. Всем нам казалось очень странным наше состояние. Мы отвыкли от тишины. Больше всего я ожидал писем из дома. Интересно, думал я, а как победу встретили отец и мать?

Вскоре от отца пришло большое письмо со всеми подробностями. Отец писал, как они слушали правительственное сообщение о победе, как проходило гулянье на улицах, как обнимались незнакомые люди, как все целовали военных...

Всю ночь отец с матерью гуляли, хотели пройти на Красную площадь, но там собралось столько народу, что они не сумели протиснуться. С каким волнением я читал это письмо – так хотелось домой. Домой!

Привыкаю к мирной жизни

Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри, чтобы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю.

Станислав Ежи Лец

Е-1-26-04

Война закончилась, но демобилизацию проводили в несколько этапов. Когда стало известно, что мой возраст демобилизуют только через год, я огорчился. Тянуло домой. Я переживал, что нужно год ждать отправки.

Наладилась переписка с родными. Из писем я узнал, что отец вернулся в Москву, мать работала диспетчером на станции «Скорой помощи».

Отоспавшись, отмывшись, я постепенно привыкал к мирной жизни. Через две недели после окончания войны вызвал меня капитан Коновалов и сказал:

– Вот теперь, Никулин, наступило время раскрывать свои таланты. Давай налаживай самодеятельность и тренируй наших футболистов.

Тренером пробыл я недолго: сборная дивизиона проиграла соседней части со счетом 11:0, и меня от этой работы освободили. Я стал отвечать только за художественную самодеятельность.

В Восточной Пруссии, в одном небольшом городке, наш дивизион разместился в здании бывшего немецкого танкового училища, на чердаке которого мы оборудовали клуб: сбили сцену, поставили скамейки. Здесь показывали кино, нашими силами устраивались концерты.

В дивизион пришло пополнение из молодых ребят. И мы, дожидавшиеся демобилизации, стали самыми старшими в части.

Наконец подошел долгожданный срок. Восемнадцатого мая 1946 года (восемнадцатое – мое любимое число) меня, старшего сержанта, демобилизовали. В Москву решил ехать, ничего не сообщая родным. «Неожиданное появление, – думал я, – произведет большой эффект».

Дорога заняла четыре дня.

В переполненном товарном вагоне, лежа на нарах, подложив под голову вещмешок, я размышлял, как жить дальше. В год демобилизации мне исполнилось двадцать пять лет. Вполне взрослый человек. Не будь войны, я к этому времени приобрел бы какую-нибудь гражданскую профессию и, возможно, женившись, начал самостоятельную жизнь.

За открытой дверью теплушки проплывали разрушенные города и сожженные деревни. Узнав, что мы подъезжаем к Смоленску, я оживился. Здесь наш состав простоял два часа. С тоской я смотрел на этот некогда красивый, зеленый, уютный город, а теперь полуразрушенный, обгоревший и мрачный. Казалось, что уцелела только древняя крепость на горе. (Когда я маленьким гостил у бабушки в Смоленске, эта древняя крепость на горе Веселухе манила меня. Стены крепости настолько широкие, что по их верху могла проехать тройка лошадей. Около одной из башен мне показали ровную площадку, где якобы обедал Наполеон. Я ползал по траве, надеясь найти остатки наполеоновского обеда. Почему-то все искал рыбью кость.)

За годы войны пришлось повидать много разрушенных селений, которые значились только на карте. На их месте, словно обелиски, торчали одни почерневшие печки.

Мы возвращались домой в таких же теплушках, в которых нас, призывников, везли в 1939 году из Москвы в Ленинград. Тогда все вокруг говорили о доме, близких, любимых, а сейчас вспоминали войну: кто где воевал, получил ранение, как выходил из окружения, как переносил бомбежку. В дороге пели под трофейный аккордеон фронтовые песни.

Я ехал и думал о войне как о самой ужасной трагедии на земле, о бессмысленном истреблении людьми друг друга. До войны я прочел книгу Ремарка «На Западном фронте без перемен». Книга мне понравилась, но она меня не поразила. В освобожденной Риге, в подвале одного из домов, разбитого снарядами, мы с Ефимом Лейбовичем наткнулись на груды книг. И среди них мы нашли роман Ремарка «Обратный путь», который позже издавался под названием «Возвращение». Роман о судьбе солдат времен Первой мировой войны, вернувшихся домой. Эту книгу мы с Ефимом прочли запоем. Она нас потрясла своей убедительностью и откровенностью. Читал я роман и все на себя примеривал – герои-то его мои ровесники. Ведь я, как и ремарковские солдаты, также прошел войну и возвращался домой. Но я не думал, что меня ждет безысходность, опустошенность, как героев Ремарка, хотя и понимал, что перестраиваться будет трудно. В армии меня кормили, одевали, будили, за меня все время думали, мною руководили. Единственной моей заботой было не терять присутствия духа, стараться точнее выполнить приказ и по возможности уберечься от осколков, от шальной пули. В армии я понял цену жизни и куска хлеба.

И хотя возвращался домой несколько растерянным и в сомнениях, главное, что ощущал, – радость. Радовался тому, что остался жив, что ждут меня дома родные, любимая девушка и друзья. «Все образуется, – думал я. – Если пережил эту страшную войну, то все остальное как-нибудь преодолею».

Отец с матерью, друзья мне по-прежнему представлялись такими же, какими я оставил их, когда уходил в армию. Ну наверное, постарели немного, похудели, но ведь те же. Перед самой демобилизацией – в первый раз за годы войны – мама прислала мне свою фотографию. На карточке она была худой, поседевшей. Ее снимали для Доски почета на работе, поэтому к черной кофте мама прикрепила медаль «За победу над Германией». На батарее я всем показывал фотографию мамы.

Через четыре дня я стоял на площади у Рижского вокзала. Москва встретила солнечным днем. Я шагал по столице со своим черным фанерным чемоданчиком, в котором лежали толстая потрепанная тетрадь с песнями, книги, записная книжка с анекдотами, письма от родных и любимой. Еще на вокзале я подошел к телефону-автомату и, опустив дрожащей рукой монетку, услышав гудок, набрал домашний номер телефона, который помнил все эти годы: Е-1-26-04. (В то время вместо первой цифры набирали букву, считалось, что так легче запомнить номер.)

– Слушаю, – раздалось в трубке. К телефону подошла мама, я сразу узнал ее голос.

– Мама, это я!

– Володя, это Юра, Володя... – услышал я, как мама радостно звала отца к телефону.

Отец с места в карьер, как будто я и не уезжал на семь лет из дому, сказал:

– Слушаю! Как жалко, что поезд поздно пришел. Сегодня твои на «Динамо» играют со «Спартаком».

Я почувствовал в голосе отца нотки сожаления. Он собрался идти на матч и огорчился, что придется оставаться дома. Тогда я сказал, чтобы он ехал на стадион, а сам обещал приехать на второй тайм.

Он с восторгом согласился:

– Прекрасно! Я еду на стадион. Билет возьму и тебе. После первого тайма встречаемся на контроле у Южной трибуны.

Пока я трясся в трамвае, шел по Разгуляю к Токмакову переулку, сердце так бешено колотилось, что подумал: наверное, вот так люди умирают от радости.

И папиросу докурили...

У ворот дома меня уже ждала мама. Мама! За годы войны она сильно изменилась. На осунувшемся лице выделялись ее огромные глаза, волосы совсем побелели.

Когда я вошел в комнату, радостно запрыгала собака Малька. Она меня не забыла. Вскоре появился мой школьный друг Шура Скалыга. Он недавно вернулся из Венгрии, где служил в танковых частях. На его груди красовался орден Славы третьей степени. Вместе с Шурой, наскоро поев, мы помчались на «Динамо».

Успели как раз к перерыву. Отец стоял у контроля. Я еще издали заметил его сутулую фигуру в знакомой мне серой кепке.

– Папа! – заорал я.

Отец поднял руку, и мы кинулись друг к другу. Пока мы целовались, Шурка кричал контролерам:

– Глядите! Глядите! Они всю войну не виделись! Он вернулся! Это отец и сын!!

Под эти крики мы вдвоем с Шуркой прошли мимо ошеломленных контролеров на один билет.

Не помню, как сыграли в тот день «Спартак» и «Динамо», но матч стал для меня праздником.

Я в Москве. Дома. И, как в доброе довоенное время, сижу с отцом и Шуркой Скалыгой на Южной трибуне стадиона «Динамо», смотрю на зеленое поле, по которому бегают игроки, слышу крики и свист болельщиков и думаю: «Вот это и есть, наверное, настоящее счастье».

Отец почти не изменился. У него по-прежнему молодое, без морщин, лицо и ни одного седого волоса. Правда, он стал носить очки и начал курить.

Когда после матча мы пришли домой, отец торжественно достал из ящика письменного стола коробку «Казбека», где лежала недокуренная папироса, на мундштуке которой он сделал надпись: «9 мая 1945 года». Именно в тот день отец не докурил папироску, решив, что докурит ее, когда я вернусь из армии.

Он затягивался папироской, хваля ее особый вкус.

Пока мама готовила на кухне ужин, я вышел во двор в гимнастерке, с тремя медалями, полученными за войну: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Все вокруг выглядело необычным и странным, хотя на самом деле вроде бы ничего и не изменилось с тех пор, как я ушел в армию.

Просто я на все смотрел другими глазами. В армии я стал взрослым.

За ужином отец, мать, Шурка Скалыга, дядя Ганя вспоминали войну. Отец демонстрировал последние трюки, выученные собакой Малькой.

– Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога! – говорил он монотонным голосом, и Малька забиралась под подушку и замирала.

А как только отец объявлял: «Отбой воздушной тревоги!» – Малька выскакивала из-под подушки и начинала с радостным лаем носиться по комнате.

Мы сидели в шестнадцатиметровой комнате с двумя окнами, выходящими на кирпичную стену. Эту комнату родителям дали после письма батальонного комиссара 115-го полка Спиридонова, который, узнав в разговоре со мной, что мы тесно живем, послал ходатайства в райисполком и райвоенкомат, чтобы родителям сержанта Никулина улучшили жилищные условия. И когда в нашей квартире освободилась комната соседей, в нее разрешили перейти моим родителям. В сравнении со старой девятиметровой комнатухой эта казалась нам огромной.

В первые недели после демобилизации я встречал своих однополчан. Первым увидел Яшу Богданова. (Того самого веселого парня, который пел песни, когда мы, призывники, ехали из Москвы в Ленинград.) Он работал администратором в саду имени Баумана. Встретился и с Мишей Вальковым. У него дома мы провели вместе чудесный вечер.

Дома, во дворе, воспоминания детства вернули меня на какое-то время в довоенные годы. На третий день после приезда я с подростками соседнего двора играл даже в футбол. Старушка, у которой мы разбили мячом стекло, горестно говорила:

– Ну я понимаю, эти школьники – шалопаи, но Юрий-то, воин усатый, куда он лезет?..

Совсем другими глазами я стал смотреть на людей, с которыми встречался. Да, война наложила свой отпечаток на все. На внешность, на психологию людей.

Жизнь в 1946 году была тяжелой. Карточная система. Долго я не мог разобраться в производственных карточках, что и по каким талонам можно получать. Каждый работающий прикреплялся к определенному магазину-распределителю, где имел право «отовариваться». Помню, отец спросил меня:

– Земля вертится?

– Вертится, – ответил я.

– А почему люди не падают?.. – И сам ответил: – Потому что прикреплены к магазинам.

С грустью я узнавал о друзьях и знакомых, не вернувшихся с войны. Из нашего бывшего десятого класса «А» погибло четверо, с нашего двора – двенадцать человек.

Из писем родителей я знал о гибели на фронте многих моих товарищей по школе и по двору. Но, встречаясь с родителями погибших, еще сильнее ощущал горечь и печаль утраты. И все время чувствовал себя виноватым перед родителями погибших. Виноватым в том, что остался жив. Мне казалось, что мое появление делает их горе еще более острым.

Первый месяц жизни в Москве ушел на хождение по гостям. Каждый день я встречался с родными, знакомыми. Везде расспросы и угощения.

Композитор Кирилл Молчанов как-то рассказывал мне, что, работая директором Большого театра, он каждый раз Девятого мая выходил на площадь перед театром и смотрел на встречу ветеранов войны. С каждым годом этих людей с сединами становилось все меньше и меньше. Уже фильмы о войне снимают режиссеры средних лет, которые войны как следует не знают. Но растет число молодых, приходящих на эти встречи у Большого театра.

После войны я часто получал письма с фотографиями от моих однополчан. И с трудом в пожилых лицах узнавал молодых ребят теперь уже далеких военных лет.

Мой отец, вспоминая о своем детстве, рассказывал, как однажды ему, совсем маленькому, на улице показали глубокого старика. Этого старика под руки вели в церковь. Он с трудом передвигал ноги. Как говорили, старик – единственный оставшийся в живых участник войны с Наполеоном.

Так когда-нибудь будут говорить и о моих ровесниках, отстоявших победу в годы войны.

«Крах любви»

В первый же день моего приезда домой я встретился с моей любимой. После футбола я позвонил ей, и мы договорились о встрече возле Елоховского собора. Шел на свидание с волнением. Стесняла военная форма, к тому же хромовые сапоги нещадно жали. Эти первые в жизни настоящие хромовые сапоги подарили мне на прощание разведчики, которые тайно сделали заказ нашему дивизионному сапожнику, но ошиблись размером. И я с трудом натянул сапоги на тонкий отцовский носок.

– О Юрка, ты совсем стал взрослый, – сказала она радостно, увидев меня.

А я стоял, переминаясь с ноги на ногу, не знал, что сказать, и от волнения расправлял усы, которые, как мне казалось, придавали моему лицу бравый вид. В тот вечер в парадном я ее в первый раз поцеловал. А потом долго не давал уйти. Она, вырывая свою руку из моей, говорила шепотом:

– Не надо, может выйти папа.

Мы почти ежедневно встречались. Ходили в театр, кино. Она несколько раз приходила к нам в Токмаков переулок. Моим родителям она нравилась.

Как-то зашел к нам в комнату дядя Ганя и сказал:

– Ну что, вроде бы у тебя с твоей дело на мази, женишься?

Я ответил, что собираюсь сделать предложение, но меня смущает проблема жилья. Ведь и она жила в одной комнате с родителями. Тогда дядя Ганя предложил:

– А ты въезжай в нашу маленькую комнатку. (Он имел в виду ту самую комнату, в которой я жил с родителями до войны.) Она нам все равно ни к чему, а у вас какая-никакая будет своя, отдельная.

Я с благодарностью расцеловал его.

И через два дня на той же лестничной клетке, где впервые ее поцеловал, сделал ей предложение. Мог бы сделать и у нее дома, куда не раз заходил, но постеснялся. В семье была сложная обстановка. Отец и мать находились в разводе, но жили в одной комнате, перегороденной пианино и ширмой. Они не разговаривали между собой. (В их доме я себя глупо чувствовал: то заходил в отцовский закуток попить чаю, то возвращался допивать на половину, где жили мать с дочкой.)

– Ты папе очень нравишься, – говорила она мне.

В тот вечер, когда я попросил ее руки, она сказала:

– Приходи завтра, я тебе все скажу.

На следующий день, когда мы встретились на бульваре, она, глядя в землю, сообщила, что меня любит, но по-дружески, а через неделю выходит замуж. Он летчик, и дружит она с ним еще с войны, просто раньше не говорила. Поцеловала меня в лоб и добавила:

– Но мы останемся друзьями...

Вот так и закончилась моя первая любовь. Переживал я, конечно, очень. Ночью долго бродил один по Москве. Мама с папой утешали, а дядя Ганя сказал:

– Да плюнь ты на нее! Еще лучше встретишь. Сейчас, после войны, мужики нарасхват. И учти, в случае чего комната у тебя есть.

«Для кино вы не годитесь»

Я возвращался из армии с уверенностью, что для меня открыты двери всех театральных институтов и студий.

Я же прошел войну!

Я же имел успех в самодеятельности!!

Я же просто осчастливил всех своим поступлением!!!

И я твердо решил поступать на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Снявшись в фотоателье на Разгуляе в трех эффектных позах (эти снимки я отнес вместе с документами в приемную комиссию ВГИКа), начал тщательно готовиться к экзаменам. Выбрал басню «Кот и повар» Крылова. А из стихов отец посоветовал взять «Гусара» Пушкина. Я сказал, что, по моим сведениям, «Гусара» многие читают на экзаменах.

– А ты знаешь, – ответил отец, – давай мы сделаем так. Ты будешь читать стихотворение не с начала, а с середины. Оно большое. И никто из экзаменаторов его не дослушивает до конца. Обычно уже на середине говорят: «Спасибо. Достаточно». И представляешь, все

выходят и начинают: «Скребницей чистил он коня...». Фраза всем осточертеет. И то, что ты начнешь читать стихотворение с середины, прозвучит для комиссии музыкой.

Я выучил также отрывок из «Дворянского гнезда», когда Лемм играет у себя в комнате на рояле и Лаврецкий слышит эти звуки музыки. (Теперь-то я понимаю, что отрывок мы выбрали не совсем удачный для меня.)

Во ВГИКе на актерском факультете образовался огромный конкурс. Половина поступающих, как и я, ходила в гимнастерках. Несколько человек мне запомнились. Врезался в память голубоглазый моряк Тимченко. На экзамены он принес большие глянцевые фотографии. На одной он снялся с гранатой в руке, на другой – с винтовкой, на третьей – в тельняшке. В жизни он выглядел каким-то плакатным: открытый, крепко сбитый, белозубый блондин. Я не сомневался, что Тимченко примут. На мой взгляд, он просто просился на экран на роли героев-моряков.

Первый, отборочный, тур прошел спокойно, а во время второго, после того как я прочел стихи и прозу, меня подозвали к столу, за которым сидела комиссия (ее возглавлял режиссер Сергей Юткевич – он же набирал курс). И мне сказали:

– Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино. Это мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, то советуем вам пойти в театральный институт. Там еще принимают заявления...

Вышел из института совершенно убитым. Сначала подумал, что меня не приняли потому, что я плохо выполнил этюд «на память физических действий», когда меня попросили изобразить с воображаемыми предметами следующую сценку: написать письмо, запечатать его в конверт, наклеить марку, а затем опустить его в почтовый ящик.

Дома после долгого разглядывания себя в зеркале я поверил словам членов комиссии, что действительно для кино я не годюсь. И белозубого, голубоглазого блондина Тимченко тоже не приняли. Узнав об этом, он последними словами ругал комиссию. Особенно негодовал на одного из экзаменаторов, который дал ему такое задание:

– Актер должен быть внимательным и наблюдательным. Вы согласны с этим? Вот представьте себе, что вы глухонемой. Как вы попросите у меня молоток?

Тимченко честно включился в роль глухонемого: что-то мычал, тыкал себе пальцем в грудь, а затем рукой, сжатой в кулак, делал движение, будто забивал гвоздь.

– Прекрасно! – ободрил его экзаменатор. – А теперь представьте, что вы слепой, и попросите у меня ножницы.

Для большей достоверности Тимченко закрыл глаза, двумя пальцами начал воспроизводить движение ножниц и услышал:

– Артист должен быть внимательным. Зачем вы двигаете пальцами и молчите? Вы же слепой, вы можете говорить. Вам проще сказать: «Дайте, пожалуйста, мне ножницы».

Но Тимченко не унывал и, вспомнив свои подвиги в морской пехоте, решил взять ВГИК штурмом. Поэтому он предложил мне и еще нескольким из непоступивших пойти домой к известному артисту Василию Васильевичу Ванину, который в то время вел во ВГИКе курс.

Мы с трудом разыскали адрес Ванина и пришли к нему на улицу Горького. В восемь утра позвонили в квартиру. Нам никто не ответил.

– Ничего, – сказал Тимченко, – подождем, погуляем.

Погуляли. Пришли через час. Снова звоним. Открылась дверь, и на пороге перед нами стоит сам Ванин.

– Здравствуйте, – обратился к нему Тимченко. – Вот мы к вам пришли, помогите нам.

– Проходите, ребята, – сказал Ванин. – Извините, что я в халате, но вы не стесняйтесь. Прошли мы в комнату, сели на краешки стульев. Ванин спросил, что мы хотим.

Тимченко рассказал, что нас, группу ребят-фронтовиков, не приняли во ВГИК, на актерский факультет. Несколько человек стоят внизу и тоже волнуются. Они просто постеснялись зайти. А вообще мы просим помочь.

Внимательно выслушал нас Ванин, расспросил, где мы воевали, откуда приехали, и сказал:

– Понимаете, ребята, если бы я набирал, то, конечно, бы вас принял. Но курс-то не мой. Вот буду снова набирать курс, пожалуйста, приходите. Я вижу, вы ребята способные! Простите, что не могу угостить вас ничем, я еще и чайник не поставил...

Вышли мы от Ванина в полной уверенности, что если бы действительно он набирал курс, то мы стали бы студентами. Он, как нам представлялось, взял бы телефонную трубку, позвонил в институт и сказал:

– Запишите там Тимченко, Никулина и других. Я их принимаю.

Теперь-то мне понятно, что Ванин был просто добрый, хороший человек и не хотел нас огорчать.

После встречи с Ваниным нам стало легче. И мы решили с Тимченко продолжать сдавать экзамены в другой институт. (Много лет спустя, на открытии кинофестиваля, я встретил этого бывшего матроса, обвешанного фотоаппаратами. Он стал фотокорреспондентом.)

Хотя родители меня и успокаивали, я долго переживал. «Ведь я способный, – думал я, – имел успех в армии». «Ну, Никулин, ты мировой!» – говорили мне часто однополчане после концертов. А на экзаменах не допустили и на третий тур.

Для кино я не годился.

И для театра не годился

Больше всех меня успокаивала мама.

– Не расстраивайся, – говорила она, – не поступишь в этом году, на будущий попробуешь.

Я старался не падать духом. И быстро подал заявления в Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского и в Училище имени Щепкина при Малом театре.

Сначала экзаменовался в Щепкинском училище. Оно находилось рядом с дирекцией Мосэстрады, около которой всегда толпились артисты, одетые в элегантные плащи, непременно с клетчатыми шарфами, в броских цветных шляпах – зеленых, песочных, коричневых.

«Вот стану артистом, обязательно куплю себе такой же плащ, шарф и шляпу», – мечтал я.

Первый тур для меня прошел благополучно. Настал день второго тура. Он проходил в большой комнате, где устроили зрительный зал. Первый ряд занимала комиссия. В центре сидела прославленная артистка Малого театра Вера Николаевна Пашенная.

Когда я читал «Гусара» Пушкина, то, не дойдя и до половины куска, услышал:

– Спасибо, достаточно.

«Ну, – думаю, – либо провалился окончательно, либо я им так понравился, что они на прослушивание просто не хотят терять времени».

Вышел в коридор и жду окончания экзамена. Тут ко мне подходит студент-старшекурсник училища и покровительственно говорит:

– Ну как же вы могли... читать с таким наигрышем? Это же абсолютно противопоказано актеру. Тем более что вы поступаете в Малый театр. Мой совет вам – избавляйтесь от наигрыша.

Мнение студента совпало с мнением приемной комиссии.

Здесь же, в студии Малого театра, я услышал историю, связанную с одним поступлением. Держала экзамен девушка, которой дали задание сыграть воровку. Председатель комиссии положил на стол свои часы и попросил девушку якобы их украсть.

– Да как вы смеете давать такие этюды?! – возмутилась девушка. – Я комсомолка, а вы меня заставляете воровать. Я буду жаловаться...

Она долго кричала, стучала кулаками по столу, а потом, расплакавшись, выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Члены комиссии растерялись. Сидели в недоумении. Кто-то из них сказал:

– А может быть, и верно, зря обидели девушку?..

Председатель комиссии смотрит, а часов-то его и нет.

Он испугался. Но тут открылась дверь, и вошла девушка с часами в руках. Положив их на стол, она спокойно сказала:

– Вы предложили мне сыграть воровку. Я выполнила ваше задание.

Все долго смеялись, а девушку приняли.

Сдавал я экзамен и в ГИТИС, где экзаменационную комиссию возглавлял артист С. Гушанский.

Когда я впервые увидел его в коридоре института, то вспомнил свое детство. Именно Гушанский в свое время исполнял почти все центральные роли в спектаклях Театра рабочих ребят (в том самом, где мы стащили декорацию – стог сена). Когда мне приходилось его встречать в нашем переулке, то я долго провожал взглядом любимого артиста, исполнителя главных ролей в спектаклях «Улица радости», «Нахлебник», «Пакет» и других.

И вот он идет по коридору института. Я не выдержал, подошел к нему:

– Здравствуйте! Я вас знаю. Ведь это вы работали в тридцатых годах в Театре рабочих ребят?

– Да, – улыбнулся Гушанский и спросил меня, что я здесь делаю.

– Поступаю в институт.

– А-а-а... Ну что ж, посмотрим, послушаем. Желаю удачи.

Во время моего исполнения прозы и басни все сидели тихо, внимательно слушали. А при чтении «Гусара» в комиссии возник смех, и я почувствовал, что мое чтение нравится.

В коридоре меня обступили студенты-старшекурсники, которые присутствовали на экзамене, и начали наперебой ободрять:

– Гушанский смеялся. Тебя примут. Ты всем понравился.

Во время хождений по узким, темным коридорам института, встречаясь со многими державшими экзамены, я узнал новые легенды о счастливых поступлениях в институт.

Рассказывали, как один способный парень провалился. На следующий день к ректору института и в приемную комиссию пришла пожилая женщина – тетка этого парня – и долго всех уговаривала принять ее племянника, который спит и видит себя артистом. Эта женщина всем так надоела, что ее чуть ли не силой хотели выпроводить из института. Когда члены комиссии, уже устав доказывать, что ее племянник бездарный, начали кричать, злиться, женщина сорвала с себя платок, очки, и все увидели, что это не женщина, а тот самый юноша. Вся комиссия ахнула. Парня приняли. Я слушал и думал про себя: «Вот мне бы так». Но у меня все получалось иначе.

Дойдя до третьего тура, я надеялся, что наконец-таки повезет. Когда меня пригласили в зал, где проходил последний, решающий экзамен, то первым я увидел Михаила Михайловича Тарханова, знаменитого артиста МХАТа, художественного руководителя ГИТИСа. Он сидел за столом, почему-то скрючившись, и смотрел в пол. Я читаю стихи, смотрю на Тарханова, а он уставился в пол. Это страшно отвлекало. (Потом мне сказали, что, оказывается, у Тарханова начался сильный приступ печени и он, только что приняв лекарство, ожидал, когда стихнет боль.)

Результаты экзамена объявляли на следующий день. Пришел я в институт и, волнуясь, начал читать списки принятых. Себя в них не нашел. Еще раз медленно прочел списки. И снова моей фамилии там не оказалось. Конечно, расстроился. Решил дожидаться Гушанского и, рассчитывая на его помощь, обо всем с ним переговорить.

– Понимаете, как сложилось, – объяснял мне Гушанский. – Сначала все у вас шло хорошо, но на последнем туре решили, что вы не впишетесь в группу, которую набирают руководители курса. Из всех зачисленных хотят составить как бы актерскую труппу, из которой потом может получиться новый театр. И вот в этой труппе для вас не нашлось амплуа, поэтому вас и не приняли.

Ходил я по узким зигзагообразным коридорам института как в воду опущенный. Было обидно, идти домой не хотелось. В это время ко мне подошел симпатичный, с черными умными глазами молодой человек.

– Здравствуйте, – сказал он просто и представился: – Меня зовут Толя. Фамилия – Эфрос. Я знаю, что вас не приняли. Но вы не расстраивайтесь. Мы хотим вас попробовать в нашу студию.

– В какую студию?

– В Ногинске есть театр. Им руководит режиссер Константин Воинов. Талантливый, интересный человек. Я сам заканчиваю режиссерский факультет здесь, в ГИТИСе. И помогаю Воинову. Мы сейчас организуем студию в Москве. В дальнейшем из нашей студии должен родиться театр. Предлагаю попробовать. Вот вам мой телефон.

И Анатолий Эфрос дал мне записку с номером телефона. Не придавая никакого значения записке, я автоматически положил ее в карман, решив про себя, что ни в какую студию пробоваться не буду. Ведь у меня в запасе оставалась студия Камерного театра и вспомогательный состав театра МГСПС, как раньше называли Театр Моссовета. Кто-то из знакомых отца дал мне записку к артисту Оленину, который работал в этом театре.

Пришел я к нему в грим-уборную. Он как раз готовился к спектаклю.

– Что я вам могу сказать, – начал Оленин, прочитав записку. – У нас через двадцать дней действительно начнется набор во вспомогательный состав. Попробуйте. Но скажу откровенно: шансов у вас мало. Плохо то, что вы никогда раньше не работали в театре. Но вдруг вам повезет. Будем надеяться.

К сожалению, не повезло. После первого же прослушивания во вспомогательный состав театра меня не зачислили.

До начала экзаменов в студию Камерного театра оставался месяц. И тут я вспомнил о записке Анатолия Эфроса.

«А что, – думаю, – может быть, пойти в студию? Все-таки реальное предложение...»

Позвонил Эфросу. Он тепло со мной поговорил и обещал познакомить с Воиновым.

(Мог ли я тогда предполагать, что через десять лет получу приглашение сниматься в одном из первых фильмов Воинова, «Молодо-зелено», где буду играть одну из первых своих киноролей?!)

В студии Воинова я читал прозу, стихи, басню, пел, играл на гитаре и даже танцевал. Экзамен продолжался более часа. И меня приняли. Вместе со мной просматривался у Воинова и Шура Скалыга, который в то время работал в Театре теней при Мосэстраде. Шуру зачислили кандидатом.

Воинов собрал вокруг себя немало талантливых молодых людей. Многие потом стали профессиональными артистами и режиссерами.

Время от времени студия давала спектакли, разъезжая по области. Главное, на чем держалась студия, – дисциплина. За первое опоздание давали выговор, за второе – исключали из студии.

Занимаясь у Воинова, я продолжал готовиться в театральную студию при Камерном театре. Последняя надежда получить специальное театральное образование.

Во все вузы и студии Москвы, куда только мог успеть, я держал все лето экзамены. Только в училище МХАТа не рискнул подать заявление, хотя и помнил рассказ Сергея Образцова, когда он делился на вечере в ЦДРИ своими взглядами на искусство, жизнь. Он, например, говоря об актерском везении, вспомнил о том, как поступал в студию МХАТа.

Председатель приемной комиссии В. И. Немирович-Данченко иронически спросил его во время экзамена:

– Молодой человек, а сколько вам годов?

Растерявшийся Образцов выпалил:

– Двадцать один лет.

– Приняли меня, – рассказывал Сергей Владимирович, – как остроумного, находчивого, потому что вся комиссия засмеялась. А я ведь и не помышлял об этом. Актерское везение. У каждого артиста есть свой коэффициент актерского счастья.

Мама продолжала работать на «Скорой помощи». Отец писал репризы, фельетоны, частушки. Я получал иждивенческую карточку. Студия Воинова не только не считалась местом работы или учебы, но даже справки о том, что я занят делом, не имела права выдать, не говоря уже об обеспечении меня продовольственной карточкой.

Как жить дальше? Может быть, поступить в педагогический институт? Поскольку среди моих родных были педагоги, я серьезно подумывал об этом. А может быть, пойти работать? Но куда? Ведь никакой гражданской специальности у меня нет. С таким настроением я отправился в райотдел милиции, куда меня вызвали повесткой.

– Что же вы, товарищ Никулин, – укоризненно выговаривал мне пожилой капитан, – демобилизовались в мае, сейчас сентябрь, а вы до сих пор нигде не работаете? Получаете иждивенческую карточку. Чем вы занимаетесь?

– Да вот поступал учиться, не вышло. Не принимают меня нигде. Сейчас снова пробую.

– Как так не принимают?

– Вот так и не принимают, – ответил я с огорчением.

– А чего думать. Идите к нам учиться. У вас среднее образование, вы член партии, фронтовик. Нам такие люди нужны, – предложил капитан, которому я, видимо, понравился. – У нас хорошо. Будете получать карточку, выдадут вам форму. Если нужно – у вас же одна комнатка на троих, – жильем поможем. У нас, в милиции, много интересной работы. Подумайте, а?

Вышел на улицу, и у меня промелькнула мысль: «А что, если, верно, пойти в милицию?...»

С чего начинаются клоуны

Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.
Станислав Ежи Лец

«Вечерка» помогла

Обычно мы с отцом покупали газету «Вечерняя Москва» в киоске на Елоховской площади. Где-то в середине сентября 1946 года мы купили газету и на четвертой странице прочли объявление о наборе в студию клоунады при Московском ордена Ленина государственном цирке на Цветном бульваре. Возникла идея: а что, если попробовать?

На семейном совете долго обсуждали: стоит или не стоит поступать в студию?

Мама склонялась к театру, считая, что рано или поздно, но мне повезет.

– Все-таки театр благороднее, – говорила она. Отец придерживался другого мнения.

– Пусть Юра рискнет, – настаивал он. – В цирке экспериментировать можно. Работы – непочатый край. Если он найдет себя – выдвинется. А в театре? Там слишком много традиций, все известно, полная зависимость от режиссера. В цирке многое определяет сам артист.

И я решил поступать в студию цирка.

Документы принимали в маленькой комнате (теперь там одна из секций гардероба для зрителей). Невысокий мужчина с копной рыжих волос регистрировал заявления и анкеты, проверяя правильность их заполнения.

Он выполнял роль секретаря приемной комиссии и показался мне тогда представительным. Потом выяснилось, что он тоже из поступающих – Виктор Володин.

Мастерскую клоунов набирал режиссер цирка Александр Александрович Федорович. В 20-е годы он, как и отец, руководил художественной самодеятельностью на одном из предприятий столицы, и они раньше нередко встречались по работе.

Первый тур, на который допускались все, проходил в крошечной комнате красного уголка. Вызывали по одному человеку. Я долго ждал и наконец предстал перед комиссией, сидящей за столом, покрытым красной скатертью. Прочел Пушкина. Хотел читать басню, но тут подзывает меня Федорович (он был в заграничной кожаной куртке на «молниях») и спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, вы не сын ли Владимира Андреевича Никулина?

– Сын.

– Что вы говорите? – удивился он. – И что же, решили пойти в цирк?

Мне показалось, что в вопросе прозвучало какое-то сожаление.

– Да, – говорю, – люблю цирк. Хочу стать клоуном.

– Ну что ж, очень рад. Очень рад. Так мы вас прямо на третий тур допустим. Привет папе передавайте.

Привет я передал, а сам нервничал: конкурс-то большой. Во-первых, поступали многие из тех, кто не прошел в театральные институты и студии, во-вторых, допускали к экзаменам с семилетним образованием, что увеличило число желающих стать клоунами, в-третьих, цирк рядом с Центральным рынком, и некоторые его завсегдатаи и приезжие тоже почему-то, то ли из баловства, то ли серьезно, решили испытать счастье.

Одному из них я понравился.

– Если не примут, – говорил он, – ты приходи ко мне. Мы семечками торговать будем. С мячиком.

– Как с мячиком? – удивился я.

– Очень просто, – объяснил он. – Пойдем к поезду и купим мешок семечек за тысячу рублей. Потом найдем старуху и предложим ей по шестьдесят копеек за стакан, если оптом возьмет. Старуха, конечно, согласится, потому что сама будет продавать семечки по рублю. Первые два-три стакана мы ей насыплем полностью, а потом я незаметно теннисный мячик (я его в рукав спрячу) в стакан подложу и буду дальше отмерять... Лапища у меня огромная, мячика никто не увидит. Полное впечатление, что стакан наполняется доверху. Ты в это время начнешь ей что-нибудь заливать.

Наступил день третьего тура. Поцеловав на счастье нашу собачку Мальку, я, страшно нервный и невыспавшийся, в шинели и сапогах, пошел в цирк.

Кандидаты в Карандаши

Пожарник держит экзамен в музыкальную школу. Его спрашивают:

– Какая разница между скрипкой и контрабасом?

Пожарник, подумав:

– Контрабас дольше горит.

Из услышанных анекдотов

Экзамен проходил на ярко освещенном манеже. В зале собралось довольно много народу: сотрудники Главного управления цирков, работающие в программе артисты, униформисты, уборщицы, знакомые и друзья поступающих (моих знакомых в зале не было).

Комиссия занимала первый ряд, в центре сидел в своей кожаной куртке А. Федорович. Рядом с ним – художественный руководитель цирка Ю. Юрский. В комиссию также входили известный жонглер В. Жанто, режиссер Б. Шахет, инспектор манежа А. Буше, директор цирка Н. Байкалов и другие.

Первым экзаменовался мужчина лет тридцати, довольно пьяный – для храбрости, что ли, выпил? Он не придумал ничего лучшего, как встать на стул и запеть гнусавым голосом:

Кашка манная, ночь туманная,
Приходи ко мне, моя желанная...

Пел противно, но смешно. Не по исполнению, а просто оттого, что вышел дурачок, да еще пьяный, и голос у него гнусавый... Многие смеялись. Но нас, тех, кто держал экзамен, бил колотун.

Ожидая своей очереди, волнуясь, я наблюдал за сдающими экзамен. Вот полный, комичный на вид, обаятельный Виктор Паршин. Как и все, он сначала прочел стихи и басню, а потом ему дали задание: будто бы идет он за кулисы и там встречает только что вышедшего из клетки тигра. Как нужно реагировать? Виктор Паршин, спокойно посвистывая, пошел за кулисы и выбежал оттуда с диким криком, опрокидывая стулья, и через весь манеж пронесся к выходу. По-моему, сделал он это просто здорово.

Запомнился мне Анатолий Барашкин, которого попросили сделать этюд: заправить воображаемый примус керосином и разжечь его. Это он выполнил классически!

Высокий худощавый Георгий Лебедев поразил всю комиссию великолепным чтением стихов Владимира Маяковского.

Экзаменовались Илья Полубаров и Виктор Смирнов. Раньше они занимались в цирковом училище. Оба прекрасно жонглировали, владели акробатикой и нам казались сверх-талантливыми и сверхумелыми. Они легко делали флик-фляки, каскады, разговаривали между собой, употребляя цирковую терминологию: «оберман», «унтерман», «шпрех»... Их, конечно, приняли.

Своей артистической внешностью среди всех выделялся Юрий Котов, приехавший из Орла. Он довольно успешно прочитал стихи Сергея Михалкова: «Я приехал на Кавказ, сел на лошадь первый раз...».

Экзаменовался и самый юный из нас – Николай Станиславский. По поводу его фамилии многие иронизировали, говоря: «Вот и Станиславский в цирк пришел».

Смотрел я на всех и думал: «Куда мне с ними тягаться?»

Пришла моя очередь выходить на манеж. Прочел стихи, басню, дали мне этюд: будто потерял я на манеже ключ от квартиры и ищу его. Придумал не самое оригинальное. Сделал вид, что долго ключ ищу, а всюду темно. Зажигал настоящие спички (мне казалось, если зажигать спички на ярко освещенном манеже, то будет смешно), но никто находку не оценил. И вот наконец кидаюсь на ковер и что-то поднимаю – увы, это оказался не ключ, а плевок. Руку вытер о себя брезгливо. В зале засмеялись.

Потом экзаменовались и другие. Среди них Борис Романов. Своей общительностью, чувством юмора, а также тем, что он пришел на экзамен, как и я, в солдатской шинели (а у меня еще долго после войны ко всем, кто носил солдатскую шинель, оставалось отношение доброе), он привлек мое внимание, и мы познакомились. Для начала он рассказал мне анекдот.

На экзамене профессор спрашивает нерадивого студента:

– Вы знаете, что такое экзамен?

– Экзамен – это беседа двух умных людей, – отвечает студент.

– А если один из них идиот? – интересуется профессор.

Студент спокойно говорит:

– Тогда второй не получит стипендии.

От Бориса я узнал, что он воспитывался в детдоме, его учебу в театральном техническом училище (он собирался стать гримером) прервала война. Конечно, тогда я и не предполагал, что мы станем друзьями и мало того – партнерами, что Бориса примут у нас дома, полюбят и он будет завсегдатаем наших вечеров в Токмаковом переулке.

В три часа дня закончился последний тур, а в шесть часов вечера вышел какой-то человек со списком и буднично, в алфавитном порядке зачитал фамилии всех принятых. Среди них произнес и мою. Всего в студию зачислили восемнадцать человек, а пятерых взяли кандидатами.

Я сразу позвонил домой.

– Папа, меня приняли.

– Ну и хорошо. Приезжай скорее!

Приехал домой и подробно все рассказал. А в восемь вечера в Камерном театре (потом он назывался Театром имени Пушкина) проходил последний тур конкурса, на который меня тоже допустили. И я решил поехать.

И надо же! И здесь после конкурса мне сообщили, что меня приняли в студию.

Бывает же так: то всюду отказ, а тут в один день две удачи.

Вернулся домой поздно, и долго с отцом и матерью обсуждали минувший день.

Куда идти: в студию Камерного театра или в студию цирка?

Отец вновь повторил свои доводы о том, что в цирке легче и быстрее можно проявить себя, найти новые интересные формы клоунады, и я решил идти в цирк.

Стране нужны клоуны

В трамвае сидит старушка. Рядом с ней стоит тощий, изможденный студент.

- Ты чего же, милый, такой худой? – обращается к нему старушка.
- Задают много, – отвечает он.
- Ты, наверное, отличник?
- Нет...

Старушка, видя перекинутый через руку студента плащ, предлагает:

- Давай, милый, я хоть плащ твой подержу, а то ведь тебе тяжело...
- Это не плащ, – отвечает парень, – это студент Сидоров. Вот он – отличник.

Из услышанных анекдотов

Веселое, голодное студенчество было у нас в цирковой студии. Нам, правда, выдавали рабочую продовольственную карточку, получали мы и талоны на сухой паек, а также стипендию – пятьсот рублей. Ни в одном институте не давали такой большой стипендии.

Главное управление цирков Комитета по делам искусств отпустило значительные средства на студию. Стране нужны были клоуны. К нам пригласили преподавателей различных дисциплин. Любили все у нас технологию цирка. Каждый раз занятия по этой дисциплине вели разные люди. Приглашались старые мастера, которые беседовали с нами о специфике, технологии цирка, рассказывали о своей жизни, работе. Много времени провел с нами Александр Борисович Буше, неповторимый режиссер – инспектор Московского цирка. (Его и еще ведущего программу Роберта Вагановского из Ленинградского цирка зрители всегда встречали аплодисментами.)

Живая энциклопедия

На манеж выходит Рыжий и говорит Белому:

- Здравствуй! – и протягивает руку.
- Боже мой, какие у тебя грязные руки! – удивляется Белый.
- Грязные? – переспрашивает Рыжий. – Да ты бы посмотрел на мои ноги.

Старинная цирковая реприза

Дмитрий Сергеевич Альперов, когда появился у нас в студии, выглядел патриархом. Полный, огромный, он вошел, тяжело дыша, и зычным, густым голосом попросил: – Помогите мне снять шубу.

Мы кинулись снимать с него тяжелую шубу на лисьем меху. Шапка у него тоже меховая, боярская. Он медленно подошел к столику, сел, посидел минут пять и, отдышавшись, вытащил из кармана огромные часы.

Дмитрий Сергеевич Альперов... Когда я учился еще в девятом классе, отец подарил мне книгу Д.С. Альперова «На арене старого цирка». Она стала моей любимой книгой. Я читал ее несколько раз. И потом время от времени довольно часто заглядывал в нее, чтобы перечитать описание какой-нибудь классической клоунады. Книга его, пожалуй, одна из немногих, интересна и профессионалам, и любителям цирка.

До войны, еще мальчишкой, я видел клоуна Альперова на арене. В памяти остался его громкий голос.

И вот Альперов у нас в студии. Он посмотрел на свои огромные плоские серебряные карманные часы (они выглядели клоунскими – теперь бы их назвали сувенирными) с золотыми стрелками, зеленым циферблатом, и я сразу подумал: сейчас что-нибудь с часами произойдет – взорвутся они или задымятся, а может быть, заиграет какая-нибудь музыка... Но часы просто тикали. Он посмотрел на них еще раз и положил на стол около потертой тетради со своими записями.

В комнате тихо. Альперов рокочущим голосом начал рассказывать о старом цирке. Видимо, готовясь к встрече, он записал план, поэтому время от времени заглядывал в тетрадку. Мы сразу же перенеслись на пятьдесят лет назад и попали в мир старого, дореволюционного цирка.

– Клоун Рибо, – гремел голос Альперова, – выходил в манеж и встречал мальчика с удочкой, который шел ему навстречу по барьеру. Рибо переносил мальчика через манеж, воображая, что идет по воде. Делал он это поразительно смешно.

Я записывал в своей тетради: «Ловить в манеже рыбу, воображая, что он заполнен водой...» (Через десять лет эта запись послужила толчком для создания пантомимической клоунады «Веселые рыболовы».)

Многое из рассказов Дмитрия Сергеевича звучало для нас просто неправдоподобно.

На что только не шли клоуны, чтобы вызвать смех у публики! Тот же Рибо – это был его первый трюк, – появляясь в манеже, показывал публике свой большой кулак и потом засовывал его целиком в рот. Зрители смеялись. «Уродство», – сказали бы мы сегодня.

– И у него был такой большой рот? – спросил я.

– Да нет, – ответил Альперов. – Рот вообще-то большой, но он еще специально сделал операцию – разрезал углы рта примерно на полтора сантиметра, что было не очень заметно, но зато давало возможность засунуть весь кулак.

Затаив дыхание слушали мы и рассказ Альперова о замечательном Рыжем клоуне Эйжене. Особенно мне запомнилось, как он делал одну клоунаду.

Белый и Рыжий клоуны ссорятся, и Рыжий говорит:

– Я вызываю тебя на американскую дуэль. Американская дуэль заключается в том, что два человека кладут в шляпу две записки, на одной из которых написано «Жизнь», а на другой – «Смерть». Тот, кто вытащит записку «Смерть», должен кончить жизнь самоубийством.

Белый долго заставляет Рыжего подойти к шляпе и взять записку, тот долго отказывается. Наконец Рыжий не выдерживает и говорит: «Ладно, я буду тащить первым». Дрожащей рукой он вытаскивает записку, разворачивает ее и начинает читать: «Сме... сме... сметана!»

Белый подходит и уточняет: «Не сметана, а смерть. Да, смерть. Ты вытащил смерть. Вот теперь иди и застрелись».

Рыжий брал концертину и играл печальную мелодию.

– Я последний раз играю для вас, – трагическим голосом говорил он публике.

Закончив игру, Рыжий уходил за кулисы, и тут наступала зловещая пауза. Полная тишина. Все ждали, что будет дальше. Раздавался резкий выстрел. А через две секунды на манеже появлялся радостный Рыжий с криком: «Я промахнулся!»

Альперов рассказывал, что эту клоунаду Эйжен исполнял виртуозно. Без всякого утрированного грима, одетый почти в обычный костюм, в момент, когда его посылали стреляться за кулисы, он брал концертину – маленькую гармошку – и на ломаном русском языке прощался с публикой, объявляя, что играет перед ней в последний раз. Он играл «Славянский танец» Дворжака и медленно, опустив голову, уходил за кулисы стреляться. И делал все так искренне, что некоторые даже плакали.

И потом, когда после выстрела, от которого зал вздрагивал, Эйжен появлялся, публика встречала его аплодисментами и смехом.

Многое из услышанного я уже читал в книге Альперова. Во время беседы я напомнил Дмитрию Сергеевичу один из эпизодов, рассказанных в ней.

Он прямо засветился.

– Так вы читали мою книгу?

– Да, конечно, она мне понравилась.

Я очень жалею, что не взял тогда на встречу с Альперовым его книгу и не попросил ее надписать.

Узнав в учебной части домашний телефон Альперова, первого мая 1947 года я решился ему позвонить.

– Слушаю, – сказал он своим зычным голосом.

– Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. С вами говорит студиец из цирка Юра Никулин.

– Слушаю вас, что вы хотите?

– Хочу вас поздравить с праздником Первого мая и пожелать вам доброго здоровья.

– То есть как? Просто поздравить и все?

– Да, поздравить и пожелать вам доброго здоровья. И все.

Наступила пауза.

– Ну хорошо. Спасибо, – как-то неуверенно сказал Альперов и повесил трубку.

После праздников он пришел к нам в студию и сразу спросил:

– Кто мне звонил первого мая?

Я встал.

– Вы меня поздравляли с праздником? – удивленно переспросил Альперов. – Спасибо вам большое. Вы знаете, я думал, что это розыгрыш. Ведь из цирка меня никто с праздником не поздравил. Я не сомневался, что это розыгрыш.

И он начал рассказывать о розыгрышах, которые бывали раньше в цирках. Например, приезжал артист в цирк, выходил на манеж, и обязательно во время первой репетиции кто-нибудь сбрасывал на его голову мешок с опилками. Или прибавляли галоши к полу: человек – в галошах, а сдвинуться не может и падает.

После этих рассказов я понял, почему Дмитрий Сергеевич странно прореагировал на мое поздравление.

Умирал Альперов тяжело. У него началась водянка. Он лежал распухший. Кто-то, не подумав, послал ему приглашение в цирк на открытие сезона. Он плакал, кричал: «Я хочу пойти на премьеру!» А сам не мог даже встать.

Прощались с ним на манеже. Это первая панихида, которую я увидел в цирке.

Посреди манежа на возвышении стоял открытый гроб. Рядом на стульях сидели близкие Дмитрия Сергеевича. Свет притушен, только один прожектор освещал лицо Альперова, и тихо-тихо играл оркестр. Мне все казалось, что Альперов сейчас возьмет и скажет: «А вот помню, в цирке Чинизелли...».

В тот же вечер после похорон Альперова в цирке шло очередное представление. Манеж был ярко освещен, гремела музыка, и у меня никак не укладывалось в сознании, что несколько часов назад здесь стоял гроб и все плакали, а сейчас все смеются.

Не было посылы

«Подсадка – цирковой прием, основанный на включении в номер, главным образом в комических целях, артистов под видом зрителя».

Цирковая энциклопедия

Занимаясь в студии, мы дневали и ночевали в цирке. Спустя два месяца нас начали занимать в парадах, подсадках. Первой подсадкой для нас всех стала клоунада «Шапки», которую исполняли клоуны Демаш и Мозель (по афише – Жак и Мориц).

Требовалось в клоунаде «Шапки» изобразить зрителя, сидящего с кепкой в руках. Клоуны брали кепку и в пылу спора, как бы невзначай, вырывая ее друг у друга, отрывали козырек. Зритель-подсадка, сидящий в первом ряду, к великой радости публики, переживал, нервничал. Правда, в конце клоунады выяснялось, что кепка цела, а разрывали другую. Ловкой подмены кепок никто в публике не замечал.

Помню, с каким трепетом готовился я к первой в моей жизни подсадке.

Сидел дома и долго думал, как же сделать, чтобы все выглядело естественным. Решил взять с собой книгу (буду как бы студентом, пришедшим в цирк), которая «случайно», когда у меня будут отбирать кепку, упадет на пол...

Во время клоунады волновался, но сделал все правильно, и зрители смеялись. В антракте за кулисами ко мне подошла жена Мозеля и сказала:

– А вы молодец! Все сделали точно. Настолько, что я на секунду даже испугалась – у того ли человека взял муж кепку (Она не знала меня в лицо.) У вас такой глупый вид, вы так хорошо испугались, молодец!

Демашу и Мозеля тоже понравилось, как я все делал, и они обратились к руководству студии, чтобы по субботам и воскресеньям (самые ответственные дни в цирке) в подсадке занимали меня.

Некоторые мои товарищи шли в подсадку неохотно. Так, в клоунаде «Медиум» сидящего в подсадке бьют по голове палкой и выгоняют из зала. Поэтому кое-кто из моих друзей, считая это унижением для себя, увиливал от подсадки. А я шел, считая, что любое участие в представлении пойдет мне на пользу.

Работу в подсадке мы вместе с педагогами разбирали на уроках актерского мастерства. Все действия анализировались по кускам, много говорилось о внутреннем состоянии актера.

С «внутренним состоянием» у Бориса Романова вышел казус.

Он должен был в определенный момент клоунады «Печенье» в исполнении клоунов Любимова и Гурского встать со стула (это кульминационный момент клоунады) и таким образом дать сигнал артистам, что пора кончать антре. Но Романов почему-то не встал и этим смазал финал клоунады.

Вне себя от ярости кричал за кулисами Гурский, размахивая своими исписанными руками (Гурский писал на пальцах и на ладонях текст клоунады, который всегда плохо знал):

– Где этот подлец, который нас опозорил на публике?!

Побледневший Романов вежливо и тихо объяснял:

– Понимаете, по внутреннему состоянию не возникло у меня посылы, чтобы я встал. По Станиславскому, если бы я встал, выглядело бы неоправданно...

Если бы Борис честно признался, что забыл встать, то, наверное, ему бы все сошло, но «внутреннее состояние» сначала лишило Гурского дара речи, а потом он заорал хорошо поставленным голосом:

– Да плевать я хотел на твой посыл! Тоже мне, гений! Видите ли, у него нет посылы!!! Вот я тебя пошлю сейчас... (Кстати, и послал...)

С тех пор Борис Романов в подсадках у Любимова и Гурского не участвовал.

А некоторые умники...

В один американский цирк пришел наниматься артист.

– Что вы умеете делать? – спросил его директор.

– Во время своего выступления я съедаю сто куриных, сто утиных, сто гусиных и пятьдесят страусиных яиц. Мое прозвище Яичный король.

– Но в воскресные дни у нас по четыре представления.

– Согласен.

– Да, но скоро начнутся рождественские праздники. И мы будем давать представления через каждый час.

– Но когда же я буду обедать?

Из иностранного юмора

– А некоторые умники говорят, что легко работать клоунаду! – эту фразу сказал Мозель, пожилой, опытный мастер, артист, представления с участием которого я старался не пропускать. Медленно передвигая ноги в огромных клоунских ботинках, тяжело дыша, он поднимался по лестнице, ведущей в артистическое фойе. Лицо у него покрылось испариной, парик съехал набок, а на кончике забавного клоунского носа повисла выступившая сквозь гуммоз большая капля пота. Фраза, которую он бросил на ходу, ни к кому конкретно не относилась. Артист говорил как бы сам с собой. Но так как на лестнице никого, кроме меня, не оказалось, то я принял его фразу за начало разговора.

– Если бы вы знали, как тяжело работать на утреннике! – продолжал Мозель. – Ребята шумят, приходится их перекрикивать, чтобы донести текст, так что к концу клоунады голоса уже не хватает.

– Почему же вы не даете на утренниках «Стрельбу в яблоко»? – спросил я. – В ней нет слов, ее очень хорошо принимают ребята.

– Милый мой! – ответил клоун. – Ведь мы давали эту сценку целых полтора месяца... Нужно менять репертуар, а клоунад без текста у нас больше нет.

В тот вечер, придя домой, я сделал в тетрадке следующую запись: «На детских утренниках нужно стараться детям больше показывать, чем рассказывать. Дети любят действие, смешной трюк. На утренниках текст доносить трудно».

Я с большой радостью посещал студию. Приходя к десяти утра на занятия, уходил из цирка после вечернего представления. Спектакли в то время шли в трех отделениях и заканчивались около двенадцати ночи. Стараясь общаться со старыми артистами, я все время бывал за кулисами, смотрел, как они готовятся к выходу, с удовольствием слушал их разговор, познавая историю цирка не только по книгам, а и по рассказам артистов, которые участвовали в легендарной пантомиме «Черный пират», лично знали семью Труцци, работали в частных цирках.

Так можно сломать шею...

Один человек падает с небоскреба. И, пролетая мимо балкона, спрашивает стоящего там человека:

– Какой этаж?

– Восемнадцатый.

– Ну еще можно жить...

Из иностранного юмора

Акробатику вели у нас опытные преподаватели Лебедев и Степанов. Мне приходилось на их занятиях трудно, потому что акробатика требует развитого тела и начинать заниматься нужно ею с детства. Я же начал осваивать первые акробатические упражнения в двадцать пять лет.

Кто-то из преподавателей бросил такую фразу:

– Когда человек становится умным, зрелым, он начинает задумываться: а зачем, собственно, ему нужно переворачиваться через голову, ведь так можно сломать шею?!

Мальчишки легко выделывают акробатические трюки, не задумываясь, свернут себе шею или нет. Для них это игра.

Тем не менее я отличался прилежанием, и педагоги меня иногда даже ставили в пример. Они говорили: вот, мол, какой нескладный, долговязый, а освоил кульбит, фордершпрунг и другие акробатические трюки. А когда хотели кому-нибудь сказать, что человек работает ниже своих возможностей, то непременно добавляли: «Смотри, даже Никулин делает это хорошо, а ты?»

Научился я, правда, несколько примитивно, но достаточно четко делать каскады и стал чувствовать, что у меня окрепли руки, шире стали плечи.

На лонже, удерживающей артиста от падения при выполнении им трюков, я мог даже выполнить переднее и заднее сальто-мортале. Но у меня за секунду перед прыжком возникала вредная мысль: «А может быть, не прыгать?» Это самое страшное перед выполнением трюка – раздумывать: делать или не делать? Это все. Верная дорога к травме. И я перестал прыгать.

Кто не проклинал станционных зрителей...

В гимназии на уроке литературы учитель спрашивает:

– Петров, кто написал «Евгения Онегина»?

– Не знаю, господин учитель.

– Иди домой и приведи своего отца!

Ученик пришел домой и все рассказал отцу. Тот его выпорол. На другой день отец пришел к учителю и сказал:

– Я все выяснил, господин учитель. Это он, но больше никогда не будет.

Из гимназических анекдотов

Технику речи вела в студии артистка Московской эстрады Т. Мравина. В процессе занятий она заставила всех выучить наизусть пушкинского «Станционного зрителя».

И с тех пор, часто даже проснувшись ночью, я вдруг неожиданно вспоминал: «Кто не проклинал станционных зрителей, кто с ними не бранивался? Кто в минуту гнева...». И так довольно большой кусок.

Прошло много лет. Однажды, когда я уже работал в цирке и снимался в кино, у меня дома раздался телефонный звонок.

– С вами говорят из Театра Пушкина. Мы ставим «Станционного зрителя». Нам кажется, что лучшего исполнителя на главную роль, чем вы, трудно представить. Не согласились бы вы выступить у нас как гастролер, только в этом спектакле сыграть Самсона Вырина?

Ужас! Я вспомнил, как учил текст, как мучился, и, сказать по правде, испугался. Поэтому от приглашения отказался.

У Мравиной я постоянно получал замечания: то ей не нравилась моя дикция, то я говорил в нос, то забывал текст. Но были у нее и любимцы. Среди них Георгий Лебедев, голосом которого она прямо наслаждалась.

– Ну, Лебедев, – говорила она, – прочтите нам из «Станционного зрителя».

И Георгий Лебедев прекрасно поставленным голосом читал.

На уроках техники речи мы учились и смеяться. Мне эти занятия давались с трудом. Смех у меня выходил неестественным, неискренним. Наверное, это происходило оттого, что я считал – клоун не должен смеяться сам. И для себя решил: когда буду работать на манеже – пусть публика смеется надо мной, а я постараюсь сохранить невозмутимый вид. Для меня идеалом невозмутимости, вызывающей смех, был популярный американский комик Бастер Китон, фильмы с участием которого нам специально показывали.

Конечно, можно смеяться так, как это делали знаменитые артисты цирка Бим – Бом. Они смеялись потрясающе. У них целый номер строился на смехе. Сначала начинал смеяться Бом и заражал своим смехом Бима. Публика, видя покатывающиеся от смеха Бима и Бома, не могла удержаться, и тогда в зрительном зале возникал всеобщий хохот. Смех всегда заразителен, если он только настоящий смех, а не подделка. Но я понимал: то, что органично для Бима – Бома, для меня не годится.

Часто вспоминаю рассказ Дмитрия Альперова о клоуне Киссо.

Этот клоун выходил из-за форганга – занавеса в проходе – и шел мимо специально выстроенной шеренги униформистов. А одного толстенького, неказистого на вид униформиста ставили ближе к манежу. Киссо бодро проходил мимо строя униформистов, внимательно их осматривая, и останавливал свой взгляд на последнем униформисте. И будто бы неожиданно хихикал оттого, что видел перед собой толстенького смешного человека. Киссо, как бы стесняясь своего смеха, отворачивался в сторону, а потом, не выдерживая, вновь смотрел на этого униформиста и тут же прыскал. Униформист делал вид, что не обращает внимания на смех клоуна: чего, мол, смеетесь-то, я стою, нахожусь на работе, в том, что я толстенький, моей вины нет. И униформист даже делал обиженное лицо. А Киссо начинал смеяться еще больше и призывал публику взглядом поддержать его – смотрите, вот стоит смешной человек и не понимает, что он смешон. И публика вслед за клоуном начинала хохотать.

Смеется публика, все громче и громче хохочет Киссо. Возникал такой заразительный смех, что никто не мог удержаться. Смеялись над Киссо. Смеялись вместе с Киссо. Смеялись над униформистом. Хохотали оттого, что кто-то смешно смеется.

Иногда Киссо выжидал момент, когда публика переставала смеяться, и снова, краем глаза взглянув на униформиста, начинал хохотать. Зрители его поддерживали.

Финал – неожиданный. Обессиленный от смеха, Киссо падал на опилки, как бы теряя сознание. Его клали на носилки и уносили с манежа. В момент, когда его проносили мимо униформиста, над которым он смеялся, Киссо приподнимал голову, смотрел на него пристально и тонким голосом издавал звук: протяжное «и-и-и...» – и падал в изнеможении на носилки.

Труднейший номер, требующий большого физического напряжения.

Альперов рассказывал о Киссо со всеми подробностями. На одном из выступлений, когда Киссо, блистательно исполняя коронный номер, довел зал до неимоверного хохота, он, как всегда, упал на ковер. Его положили на носилки и понесли за кулисы. И в тот момент, когда требовалось приподнять голову и увидеть смешного униформиста, Киссо почему-то этого не сделал. Все поняли уже за кулисами. Клоун умер.

Свеча горит на голове

Раздается звонок в квартиру. Хозяйка открывает дверь.

– Здравствуйте, я настройщик. У вас рояль?

– Да, но мы вас не вызывали.

– Зато меня вызывали ваши соседи.

Из услышанных анекдотов

Музыкальным воспитанием занималась с нами Евгения Михайловна Юрская, жена художественного руководителя цирка Юрия Сергеевича Юрского. Их семья жила при цирке вместе с маленьким сыном Сережей, ставшим впоследствии известным артистом.

Уроки Евгении Михайловны проходили весело, интересно, эмоционально. Она придумывала различные музыкальные этюды, разучивала с нами песни, старалась воспитать у нас вкус к музыке.

В студии многие удивились, когда на вопрос, кто на чем хочет учиться играть, я выкрикнул: «На банджо!». Большинство, естественно, хотели научиться играть на трубе, аккордеоне, саксофоне... А я – на банджо. Желание играть на этом инструменте возникло после просмотра английского фильма «Джордж из Динки-джаза», герой которого пел песни, сопровождая себя на банджо. С просмотром этой картины мне все время не везло. Помню, в годы войны я получил задание отвезти пакет в штаб армии. Отнес пакет и, имея три часа

свободного времени, решил посмотреть «Джорджа из Динки-джаза» в кинотеатре «Молодежный». Об этой картине я много слышал. И, узнав, что она демонстрируется в блокадном Ленинграде, обрадовался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.